

**РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ НАУЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
ПО ОБЩЕСТВЕННЫМ НАУКАМ**

**МЕТОД:
МОСКОВСКИЙ
ЕЖЕГОДНИК ТРУДОВ
ИЗ ОБЩЕСТВОВЕДЧЕСКИХ
ДИСЦИПЛИН**

**СБОРНИК
НАУЧНЫХ ТРУДОВ**

ВЫПУСК 5

**МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ВЗАИМОЗАВИСИМОСТЕЙ
В ОБЩЕСТВОВЕДЕНИИ**

**МОСКВА
2015**

Коллектив авторов

**Метод. Московский ежегодник
трудов из обществоведческих
дисциплин. Выпуск 5: Методы
изучения взаимозависимостей
в обществоведении**

«Агентство научных изданий»

2015

Коллектив авторов

Метод. Московский ежегодник трудов из обществоведческих дисциплин. Выпуск 5: Методы изучения взаимозависимостей в обществоведении / Коллектив авторов — «Агентство научных изданий», 2015

ISBN 978-5-248-00745-5

В сборнике анализируется мировой и отечественный опыт установления причинно-следственных зависимостей, определения условий, влияющих на протекание социальных процессов, и изучения факторов, детерминирующих различные общественные явления. Обсуждаются проблемы варьирования самих категорий причинности (causality), зависимости (dependency) и обусловленности (determinacy). Рассматривается специфика использования категорий причинности, зависимости и обусловленности в рамках различных предметных областей обществоведения, а также методологических парадигм и направлений. Особое внимание уделяется трактовке категорий причинности, зависимости и обусловленности в компаративистике, семиотике, морфологии и математике. Сборник предназначен для научных работников, аналитиков, студентов и аспирантов, которых интересуют методологические подходы к изучению причинно-следственных связей в социально-гуманитарных исследованиях.

ISBN 978-5-248-00745-5

© Коллектив авторов, 2015

© Агентство научных изданий, 2015

Содержание

Методологический вызов. Что за власть создает нашу действительность? Что и как причиняет свершения?	6
Соединение причин и условий, откликов и следствий. Заочный «круглый стол» Роккановского семинара	9
Власть природы	20
Наука без границ	20
Космология судного дня	40
Связь двух пространств: географическое воображаемое людей и территория земли на географической карте	55
Геопространство и метапространство: географические методы в политологии11	61
Власть людей	75
Действие как событие и текст: к социологическому осмыслению	75
Поля Рикёра	
Понимание междивизиационного взаимодействия41	89
Трансформация «модели человека»: социальная причинность и «невидимые катастрофы»	100
Конец ознакомительного фрагмента.	106

МЕТОД: Московский ежегодник трудов из обществоведческих дисциплин. Выпуск 5 / 2015

Методологический вызов. Что за власть создает нашу действительность? Что и как причиняет свершения?

М.В. Ильин

Дорогой читатель! Перед вами уже пятый выпуск ежегодника МЕТОД. Представление нового тома традиционно открывается взглядом на тематическую логику развертывания всей череды наших изданий. В первом выпуске мы задались вопросом, как изучать меняющийся предмет исследования. Затем мы попробовали посмотреть, как можно соотнести различные аспекты, масштабы и измерения такого меняющегося предмета на примере мирового развития. Далее внимание было перенесено на возможности уловить и понять ускользающие проявления социальной воображаемости с помощью научного воображения. В четвертом была предпринята попытка выявить возможности методологической интеграции сквозь предметные границы или поверх них, связав тем самым различные предметы изучения – изменчивые и не очень – некими общими для всех них подходами, принципами и способами изучения.

Теперь эта логика дополняется новым углом зрения. Любой предмет изучения создается множеством внутренних связей и взаимных зависимостей. Любое изменение предмета изучения сопряжено с переплетением причин и следствий, условий и реакций на них. Соответственно нынешний выпуск нашего ежегодника фокусируется на методах изучения взаимозависимостей и причинности в обществоведении.

Несколько месяцев назад в связи с внесением в план-проспект ИНИОНа данного выпуска нашего ежегодника дирекция института обсуждала его тему и аннотацию. Мы предложили сформулировать ее так – «Методы изучения причин и взаимозависимостей в обществоведении». В ответ прозвучали вопросы. Какие причины и какие взаимозависимости имеются в виду? Почему причины ставятся в один ряд с взаимозависимостями? И тут же прозвучало предложение: замените причины и взаимозависимости на причинно-следственные связи. Это привычно и понятно. Но как раз от этой привычности и самоочевидности мы и хотели уйти. Потому и предложили оставить одни лишь взаимозависимости, дабы «изучение причин» не смущало ни дирекцию, ни потенциального читателя.

От своего замысла, однако, мы не отказались. А заключался он в следующем. Мы все привыкли к причинно-следственным связям. Перед мысленным взором возникает картинка: за А «следует» В, из В «вытекает» С и т.п. Схема $A \rightarrow B$ передает однозначную и полную детерминацию. Казалось бы, все очень просто и логично. Однако задумаемся. Все ли так просто и однозначно даже в, казалось бы, ясных примерах. Галилей запускает шарик катиться вниз по лотку. Я нажимаю клавишу, а на дисплее появляется буква А. Движения шарика детерминированы силой тяжести. Но есть еще и трение, есть еще и откуда-то взявшийся лоток, есть еще, наконец, экспериментатор, которому почему-то пришлось в голову положить шарик в лоток. И то, что формула $A \rightarrow B$ появилась сначала на экране, а теперь оказалась и в сознании читателя, предопределено не нажатием моего пальца на клавишу, а многими другими обстоятельствами – уже поминавшимся обсуждением в дирекции ИНИОНа, созданием нашего ежегод-

ника в 2010 г. И даже в еще большей степени это предопределено желанием или, по меньшей мере, готовностью читателя открыть МЕТОД и прочитать этот текст. Убери или замени хотя бы одно из «попутных» обстоятельств, и пресловутая «причинно-следственная связь» станет иной, а то и исчезнет вообще. Они объявят войну, а никто не придет, как говаривал Карл Сэндберг.

Использование слов *причинность*, *причинение* и *взаимозависимости* позволяет разглядеть причины и условия, результаты и последствия наших действий и формируемой ими человеческой действительности иначе, чем на череду однозначных и жестких *причинно-следственных связей*. Само это выражение, как подтверждает и дискуссия в дирекции, уже давно тривиализовалось. Его содержание стерлось и выхолостилось от многократного автоматического употребления. Выражение, а фактически тривиализованный термин *причинно-следственные связи* задает слишком узкий и жестко ограниченный угол зрения. Это даже не угол, а щелка зрения.

Причинение шире, чем одиночная и одинокая причина и даже пучок нескольких отдельных причин. Тем более удобно говорить о причинении как о чем-то фактически происходящем в действительности, рассматривать то, что происходит, как причиненное.

Сказанное выше не означает, что мы подвергаем сомнению возможность аналитического выделения отдельной причины, действующего фактора и одной связи между двумя явлениями. Это не только возможно, но зачастую необходимо в конкретных исследованиях. Все, чего мы хотим добиться, – это признания того, что подобные одиночные причины и связи не исчерпывают всей проблематики причинения и не препятствуют поиску иных значимых причин и условий, если этого требует исследовательский вопрос.

Предложенный нами подход, точнее, некоторые его пресуппозиции стали предметом обсуждения в рамках заочного «круглого стола», который открывает наш выпуск. В ходе дискуссии были поставлены непростые вопросы, ответ на которые не очевиден. Хотели бы пригласить читателей к размышлению и критической переоценке высказанных идей. Мы ждем ваши отклики.

Первая рубрика именуется «Власть природы». В ней рассматриваются вопросы причинности, детерминизма и случайности в космологических и природных контекстах. Математика, космология и география помогают вновь взглянуть на отношения между *natura naturans* и *natura naturata*. Творцы ли мы или сотворенные? Что такое наши интеллектуальные достижения – только слепок действительности или инструмент ее переделки? В рубрике представлены статьи известных российских авторов – Александра Ретеюма, Ростислава Туровского и Алексея Юрова и молодой исследовательницы Софьи Гавриловой, в каждой из которых содержится своеобразный взгляд на обозначенную проблему.

Рубрика «Власть людей» обращает наше внимание на субстанциональную или актуально действующую причину действительности. Для нас, обществоведов, такой причиной в первую очередь становится человеческая субстанция или пресловутый человеческий фактор. Здесь читатель найдет две статьи, написанные для МЕТОДА российскими авторами Александром Флипповым и Кириллом Серегеевым, а также перевод статьи известного в мире специалиста по исторической социологии Йоханнеса Арнасона. В рубрику включены также материалы дискуссии, состоявшейся на филологическом факультете МГУ и посвященной преодолению дисциплинарных границ в ходе анализа дискурсов. Филологи, философы и политологи живо обсуждали роль вербальной составляющей в организации дискурсов, соотношение в нем слов, символов и прямых действий. Мы решили озаглавить описание дискуссии двумя вопросами: «В начале было слово? Или дело?».

Рубрика «Власть форм» объединяет материалы, так или иначе связанные с осмыслением и трактовками формальной причинности. Для нас это прежде всего императивы социальных институтов и порядков. В этой рубрике представлены статьи, написанные специально

для метода: известным российским исследователем институтов Петром Пановым, молодым автором Иваном Фоминым и признанным специалистом в области политической морфологии Вернером Патцельном из Германии.

Рубрика «Власть памяти и воображения» также включает три статьи. Это – перепечатка знаменитой статьи Хейуарда Олкера о логике «Мелоссокого диалога» Фукуитида и две статьи, написанные для МЕТОДА Суреном Золяном и Виктором Сергеевым в соавторстве с молодым исследователем Смирновым.

Рубрика «Власть метода» является в нашем выпуске по понятным причинам самой обширной и включает семь материалов. Владимир Авдонин представляет статью по общей методологической проблематике методов-органонов, ориентированных на интеграцию в науку. Илья Локшин предлагает новую трактовку тезиса Дюэма – Куайна. Ольга Гаспарян обращается к анализу эконометрических методов, а Елизавета Полухина и Дарья Просянюк рассматривают вопросы систематизации смешанных методов. В рубрике также представлены материалы по тематике качественного сравнительного анализа. Перевод статьи Маркса, Риу и Рэгина содержит развернутый анализ развития этого методологического направления за последние четверть века, а в статье Елены Мелешкиной излагаются результаты применения этой методологии в ряде исследовательских проектов. Завершает раздел статья белорусской исследовательницы Ирины Ухмановой-Шмыговой, представившей собственную методологическую разработку концепции причинности.

Мы традиционно публикуем и ежегодную роккановскую лекцию. На этот раз с ней выступает известный философ из Новосибирска Н.С. Розов. Его лекция посвящена методологии исследования кризисов в социальных науках.

В традиционной рубрике МЕТОДА «Интеллектуальный архив на завтра» на этот раз в основном представлены материалы по методологии истории науки. Софья Семенова выступает с рефератом книги, написанной математиками и историками науки, старающимися найти пути сближения гуманитарных и точных наук. Авдонин и Ильин обращаются к историческому анализу категории причинности в античной и средневековой философии. Предлагаемая здесь же подборка оригинальных текстов античных и средневековых авторов дает возможность читателю сравнить концепцию и оригиналы.

В традиционной рубрике «Библиографическая логия» представлены рецензии и аналитические обзоры современной литературы по актуальным, на наш взгляд, тенденциям в сфере методологии социальных наук. Здесь читатель найдет обновленную версию обзора литературы по методологии «воронки причинности»; обзор публикаций весьма популярной серии «Политическая наука в современном мире»; два материала рубрики – обзор Святослава Сенцова и рецензия Дарьи Бариновой – посвящены публикациям, связанным с компьютеризацией современного знания. Заключает выпуск также традиционная рубрика «Досье», где представлен обзор политической науки в институтах РАН.

Таково содержание нынешнего выпуска МЕТОДА. Его следующий шестой выпуск мы предполагаем посвятить способам представления знаний, характерным для отдельных обществоведческих дисциплин, а также для социальных и гуманитарных наук в целом. Особое внимание будет уделено способам представления знаний, характерным для трансдисциплинарных органонов-интеграторов социально-гуманитарного знания: морфологии, семиотике и математике, т.е. основным предметам исследований Центра перспективных методологий социально-гуманитарных исследований ИНИОН.

Приглашаем читателей включаться в работу над следующим выпуском.

Соединение причин и условий, откликов и следствий. Заочный «круглый стол» Роккановского семинара

В связи с подготовкой данного выпуска редакция провела очень компактный семинар, нацеленный на то, чтобы переместить фокус внимания с привычных причинно-следственных связей на неочевидные и проблематичные аспекты причинности и причинения. Одной из целей дискуссии была формулировка нескольких «провокационных» вопросов, которые бы позволили по-новому взглянуть на зависимости, на причины и следствия, на взаимодействия и их результаты, на события и их последствия.

От коллег, сотрудничающих с Центром перспективных методологий социально-гуманитарных исследований, и от авторов ежегодника «МЕТОД» были получены ответы, которые демонстрируют богатство возможных подходов к проблематике причинности.

Участники дискуссии: Владимир Авдонин (ИНИОН), Анатолий Кузнецов (ДВФУ), Михаил Ильин (ИНИОН), Константин Кокарев (ИНИОН), Петр Панов (ПГНИУ), Николай Розов (НГУ), Иван Фомин (ИНИОН), Сергей Цирель (ВНИМИ).

В чем специфика отношений причинности, складывающихся в социальной действительности? Есть ли разница между причинностью в естественных науках и в науках гуманитарных? В чем она заключается?

Сергей Цирель: В отношении причинности, как и других базовых проблем мироздания, в наибольшей степени различаются физика, в первую очередь теоретическая, которая в состоянии хотя бы пытаться исследовать природу причинности и связанного с ней времени, и все остальные науки, скромно принимающие идею причинности как базовую идею. До недавнего времени рядом с физикой стояла философия или метафизика, но все более отставала, и сейчас ей остается только рефлексировать по поводам тех ответов, которые дают физики.

Другой, куда менее выраженный водораздел проходит между науками, способными построить идеализированные модели, в которых четко различаются явления, причины и следствия, и науками, которые малоспособны и / или совсем неспособны это сделать. Очевидно, что, с одной стороны, преобладают естественные науки, а с другой – гуманитарные, но именно преобладают, а не четко делятся. Например, на сегодняшний день демография оформлена лучше, чем климатология.

Николай Розов: Позволю себе несколько предварительных замечаний о самом характере обсуждения, его ограничениях и возможностях. Инициаторы дискуссии, не будучи профессиональными философами, смело вторгаются в самые отвлеченные сферы онтологии и метафизики. Причем сами ведут обсуждение сугубо в схоластическом регистре – примерно как современники Фомы Аквинского, Ансельма или Аверроэса. Не видно даже намеков на соотнесение с анализом природы, языка и логики причинности у Юма и Ф. Бэкона, Канта, Риккерта, Маха, Шлика и Карнапа, Поппера и Гемпеля, не говоря уж о современной философии науки, научном реализме и богатейшей аналитической традиции. Профессиональный философ не может такого себе позволить, это предохраняет его от наивных, давно преодоленных ошибок и тупиковых ходов, но в то же время жестко сковывает запретами, от которых свободны увлеченные завораживающими метафизическими высотами неофиты.

Сам я отнюдь не являюсь специалистом по проблемам причинности и в этом отношении разделяю ограничения с философствующими непрофессионалами, хотя, подозреваю, многие открытые им интеллектуальные возможности для меня закрыты. Приступая с некоторой тревогой и робостью к ответам на вопросы, нахожу себе оправдание в том, что попытаюсь перевести специфический дискурс этих вопросов на понятный мне язык логического позитивизма. Для прояснения мысли буду использовать намеренно простые, прозрачные примеры причин-

ности в знакомом нам материальном и социальном мире, чтобы не затемнять содержательной сложностью примеров главной общей темы – представлений об онтологии причинности и о соответствующей логике и методологии ее исследования.

Что касается заданного здесь вопроса о различиях, то он восходит к давнишнему спору о методе (Methodenstreit). Различие очевидно, поскольку онтология социального, культурного и психического миров (социосферы, культуросферы и психосферы) существенно отличается от онтологии материального мира (биотехносферы). Различие онтологий означает различие сущностей, населяющих эти миры (сферы бытия), а значит, и происходящие в них процессы, в том числе, процессы, механизмы причинности.

В социосфере происходят взаимодействия между индивидами, между группами, эти взаимодействия (коммуникация, сотрудничество, конфликт, насилие, принуждение и т.д.) всегда включают материальные, психические и культурные компоненты, но от них можно отвлечься и сосредоточить внимание на последующих изменениях порядка взаимодействия, например, между мужчиной и женщиной после заключения брака, между государствами после заключения международного договора.

В культуросфере одни культурные образцы (комплексы образцов) влияют на другие. Здесь также всегда задействованы материальные, социальные, психические процессы, но от них можно отвлечься и сосредоточить внимание только на самом изменении образцов, например, как итальянская, французская живопись повлияла на английскую и российскую, как британская рок-музыка повлияла на континентальную и американскую и т.п.

В психосфере одни психические установки, убеждения, верования, эмоции влияют на другие внутри индивидуальной психики, внутри сообщества либо между индивидами и между сообществами. Опять же здесь не обходится без социального взаимодействия, всегда посредством культурных образцов и всегда в том или ином материальном окружении. Однако в психологических науках внимание сосредоточено именно на причинности между сознательными, бессознательными, поведенческими явлениями и процессами. Я об этом писал, например, в своей статье «Онтология научного знания: можно ли пройти между Сциллой платонизма и Харибдой социологизма?».

Анатолий Кузнецов: Разница между причинностью в естественных науках и гуманитарных заключается в том, что в последних реальность и причинность не только проходят процедуру *осмысления в сознании* определенного числа людей, но результаты этого осмысления активно *задействуются в создании самой реальности*. Специфика отношений причинности в социальной действительности характеризуется *бинарностью*. С одной стороны, сама общественная реальность как сложное образование имеет собственную логику развития. С другой стороны, составляющие эту реальность *субъекты* (люди) могут иметь *разные варианты осмысления этой реальности*. Отсюда возможно расхождение между *логикой развития реальности* и тем, как ее *представляют себе люди*. Результат подобного расхождения – кризисы, катастрофы. Поэтому здесь нужен свой *антропный принцип*.

Какие метафоры, модели и концепции наиболее продуктивны для изучения причинности в социальных и гуманитарных исследованиях?

Николай Розов: Пытаясь ответить именно на этот вопрос, я собирал наиболее яркие, конструктивные материалы в трех выпусках альманаха «Время мира» («Историческая макросоциология в XX веке», «Структуры истории», «Война и геополитика»), а также написал несколько книг: «Структура цивилизации и тенденции мирового развития», «Ценности в проблемном мире», «Философия и теория истории», «Историческая макросоциология: методология и методы», «Колея и перевал». Там собраны несколько десятков, если не сотен моделей, концепций, теорий, подходов. Собраны именно по критерию продуктивности. Вот круг авторов с наиболее яркими, перспективными идеями более узок, поэтому с удовольствием представляю своих фаворитов (более полный список есть в конце книги «Историческая макросо-

циология»): Р. Коллинз, А. Стинчкомб, И. Гофман, В. Макнил, Т. Скочпол, И. Валлерстайн, Дж. Арриги, М. Манн, Дж. Голдстоун, Ч. Тилли, Дж. Даймонд, Кр. Чейз-Данн, Ч. Рэйгин.

Анатолий Кузнецов: Первое – теорема неполноты К. Геделя. Второе – общие постулаты структурного анализа К. Леви-Стросса и В.Я. Проппа и их последующее включение в современные варианты системной парадигмы (У. Матурана, Ф. Варела, отчасти Н. Луман), включающие момент *аутопоэзиса*. Третье – концепция хронополитического измерения политики М.В. Ильина. Четвертое – последующее выведение исследования в поле синергетики с акцентом на нелинейности развития, самоорганизации, диссипативных образованиях («структурах»).

Каким средствами (методами) наиболее успешно можно изучать представления причинности, складывающиеся в сознании людей?

Анатолий Кузнецов: Изучая правила и нормы индивидуальных и групповых дискурсов, создаваемых для решения важных задач, или анализируя конкретные ситуации, в которых осуществлялось принятие решений по поводу задач подобного рода.

Николай Розов: Несмотря на свое базовое психологическое образование (МГУ), я после знакомства с убедительной концепцией интерактивных ритуалов (Дюркгейм – Уэллер – Гофман – Коллинз) пришел к выводу, что внутренние процессы в психике, сознании людей следует изучать только в контексте их социальных взаимодействий. Базовыми остаются методы наблюдения, эксперимента, углубленных интервью. При этом концепция интерактивных ритуалов, объясняющая происхождение управляющих частей психики – установок, оказывается настолько гибкой и потенциально широкой, что позволяет ее использовать практически повсеместно. Синтез же этой концепции с теорией оперантного обусловливания (Скиннер) и с уточненным понятием габитуса (Бурдьё) дает весьма мощный познавательный инструмент, который описан и использован в моей книге «Колея и перевал: макросоциологические основания стратегий России в XXI веке».

Сергей Цирель: Сознание людей изучает психология. Сейчас с ней начинает активно конкурировать нейробиология.

Иван Фомин: Один из путей к обществоведческому изучению каузальных представлений – анализ дискурса. В частности, техники когнитивного картирования и анализ когнитивных метафор. Стоит, однако, всегда делать поправку на то, что структуры текста не всегда идентичны структурам психики, хотя и могут анализироваться как его отражение.

Как различить понятия *причина*, *влияние*, *взаимосвязь*? Как они друг с другом соотносятся?

Сергей Цирель: Как области на одной шкале – степени связи. Или степени понимания сути явления: когда понимаем – говорим о причинах, плохо понимаем – о влиянии, совсем не понимаем – о взаимосвязи.

Анатолий Кузнецов: Вполне очевидно, что концепт (предпочитаю этот термин) *причина* является наиболее содержательным, так как он может включать остальные указанные и еще некоторые другие в качестве своих составляющих и определять состояние и свойства явлений и процессов. *Влияние* – конкретный концепт, он отражает ситуацию изменения свойств одного явления в результате воздействия другого. *Взаимосвязь* – более значимый концепт в сравнении с влиянием, так как он описывает изменение характеристик двух или нескольких взаимодействующих явлений.

Николай Розов: Причины бывают разные, в том числе, с моментальным воздействием (например, взрыв, ведущий к быстрому разрушению). Влияние всегда причинно, но имеет некую длительность. В понятии «взаимосвязь» подразумеваются прямые и обратные, круговые, сетевые и прочие взаимодействия – всегда причинные, а иногда с продолжающимся влиянием (взаимовлиянием).

Известна четырехчастная типология причинности Аристотеля. Она может быть дополнена аристотелевским же понятием энтелехии. Каковы альтернативы этой типологии?

Анатолий Кузнецов: Принципиальных альтернатив данной типологии не вижу, скорее, речь идет о корректном соотношении смыслов, которые вкладывал в свои типы Аристотель, с современной терминологией и концептами.

Николай Розов: Следует отметить, что в классическом виде типология причин Аристотеля в современной науке не используется, это не более, чем достояние истории философской мысли. Системное представление о входах процессов (Оптнер) полностью покрывает аристотелевское различие. Для современной науки гораздо более значимыми являются такие разделения причин, как: достаточные и недостаточные, необходимые и ненеобходимые, внутренние и внешние, субъективные и объективные, долговременные и кратковременные, зависимые и независимые переменные, базовые и производные факторы и т.д.

Сергей Цирель: В рамках строгого номинализма, не признающего никакой телеологии, принятого в современной науке, одна энтелехия и остается.

Какие теоретические и философские концепции причинности и взаимосвязанности могут оказаться полезны, когда речь идет о решении задач выработки методов социально-гуманитарных исследований?

Николай Розов: Подход к анализу INUS-условий (Insufficient necessary parts of unecessary sufficient conditions), а также актуальными остаются методы анализа причинных связей Бэкона – Милля, усиленные с помощью аппарата булевой алгебры в версии Ч. Рэйгина.

Анатолий Кузнецов: Принцип сложности; основные положения европейского структурализма; современные варианты теории систем, учитывающие положения открытости, рефлексивной кибернетики, аутопоэзиса, включающие сознание как проявление целесообразности; синергетика и принцип самоорганизации.

Сергей Цирель: Социальные и гуманитарные науки пытаются построить свои методы изучения сознания (в первую очередь лингвистика – например, гипотеза Сепира – Уорфа и гипотеза врожденных языковых способностей Хомского, в некотором смысле противоположная первой), но скорее они все же изучают не сознание, а массовые представления различных обществ и эпох либо поставляют материалы психологам и психолингвистам.

Насколько существенно различие непосредственных и опосредованных причин?

Владимир Авдонин: Можно предположить, что причина действует не непосредственно, а через определенную среду, поле, «пространство связи», в котором пребывает и «накапливается» нечто, что в какой-то момент и порождает видимую причину, причинную связь, непосредственное причинение. В связи с этим можно поставить вопросы о характере и природе этого «поля», среды, пространства (его субстанции, структурности, поляризации), а также о том, что же в нем может накапливаться и как затем превращаться в причинение.

Михаил Ильин: Думаю, что как раз непосредственного и прямого воздействия в действительности не происходит. Это просто удобный для нас способ упрощения. Прямое взаимодействие, как и пресловутые цепочки причинно-следственных отношений, являются лишь абстрактными проекциями, упрощениями, редукциями более сложных взаимодействий. Фактически же взаимодействия идут одновременно и совокупно, а главное – кумулятивно и опосредованно, через эффекты кумуляции. В результате и возникают эффекты взаимодействия, которые точнее представить таким образом, как если бы они осуществлялись тем, что вы назвали *пространством связи*.

Иван Фомин: Думаю, что здесь помогло бы обратить внимание на возможность как линейного, так и нелинейного причинения. Проблема в том, что зачастую, говоря о причинении, имеют в виду именно причинение по линейному принципу. В то время как в действитель-

ности можно обнаружить массу ситуаций, которые описываются именно нелинейными закономерностями. И в таких случаях мы как раз и можем иметь дело с накоплением эффектов, которые в итоге приводят к неожиданным (непропорциональным) изменениям. Стоит вспомнить историю о соломинке, которая переломила спину верблюду.

Николай Розов: Есть множество оснований для классификации причин, каждое из них существенно в своем круге познавательных ситуаций. Непосредственная, или прямая, причина характеризуется отсутствием посредника – промежуточного звена между причиной и следствием. Нужно отметить, что вопрос о наличии или отсутствии такого посредника далеко не всегда тривиален. Если причинная цепочка надежна, безальтернативна, то обычно промежуточные звенья выпадают из внимания. Почему помер заяц? Потому что охотник метко прицелился и нажал на курок. При этом множество посредников: спусковой механизм ружья, устройство патрона, полет пули, разрушение тканей в организме зайца, потеря крови, отмирание жизненно важных клеток и органов, все это остается без внимания. Почему в поселениях на большой реке произошло наводнение? Потому что в верховьях неделю шли проливные дожди. Все процессы стока воды, оползней, разрушения плотин в мелких притоках опять же являются «само собой разумеющимися», а поэтому мы их обычно опускаем, считая причину «прямой». Но бывают ситуации, когда мы вспоминаем о промежуточных звеньях, если, например, проектируем бронезилет, защищающий жизненно важные органы, или задумываемся, какие сооружения защитят от наводнений в будущем.

В классической науке гораздо шире используются различия необходимых и ненужных, достаточных и недостаточных причин (условий) для наступления явления такого-то класса. Соотношение этих различий с парой прямые / опосредованные причины не совсем тривиально и выглядит примерно так. Каждая прямая причина – необходима, но только в круге «своих» сопутствующих условий, каждое из которых является недостаточной и опосредованной причиной. Так, повреждение проводки в доме есть прямая причина пожара, но только при наличии плохой изоляции, близости горючих материалов, отсутствия людей и пожарной сигнализации. Каждое из этих условий является опосредованной причиной, не достаточной для пожара, но все они вместе и загоревшаяся проводка уже будут достаточными причинами. Подробнее о методологии анализа INUS-условий (Insufficient necessary parts of unnecessary sufficient conditions) можно прочитать в книге «Разработка и апробация метода теоретической истории».

Петр Панов: Различение между непосредственными и опосредованными причинами, вероятно, связано с различием между причинами как непосредственно «порождающими» какое-либо явление (событие) и условиями как обстоятельствами причинного события, которые сами по себе не порождают его (и поэтому не являются причиной), но необходимы для порождения. Если так, то данное различие представляется весьма существенным для построения объясняющих теорий. Вместе с тем следует учитывать ограниченность любой такой теории, поскольку для любого события, процесса, явления и т.д. могут быть разработаны разные теоретические объяснения, и соотношение между непосредственными и опосредованными причинами в них будут различными. Иначе говоря, такое различие в каждом отдельном случае – следствие определенной теоретической рамки, т.е. оно не абсолютно, а относительно. Кроме того, даже в одной теоретической рамке может допускаться «логическая перестановка» причины и условия, непосредственных и опосредованных причин. Далее, мне кажется, необходимо учитывать, что любая объяснительная конструкция «конечна» в том смысле, что она объясняет (и тем самым выделяет причины, условия и т.д.) лишь определенную часть реальности, фокусируясь на нее, но оставляя за рамками объяснения все остальное. Так, к примеру, объясняя электоральное поведение рациональными расчетами избирателя, мы наводим фокус на индивидуальные мотивации, оставляя за рамками вопрос о причинах этих мотиваций. Дальше мы можем сдвинуть фокус на эти причины и объяснить мотивации, например, его социальным

положением или социализацией или чем-то еще, но опять-таки неизбежно теряем из виду причины, которые привели именно к такому социальному положению, социализации. И так далее. Двигаться по пути поиска причин можно бесконечно, и соотношение между непосредственными и опосредующими причинами опять-таки может меняться. Впрочем, все это не снижает важность такого различия, поскольку оно необходимо для упорядочивания наших представлений об окружающем мире, которое предлагается (по крайней мере, должно предлагаться) в каждой теоретической рамке.

Каким образом можно «вообразить» и концептуализировать опосредующие причины?

Владимир Авдонин: В ходе наших дискуссий в Центре перспективных методологий мы использовали метафору «клея», чтобы уловить особенности опосредованной причинности. Вероятно, способность связывания, соединения в общем субстанциональном поле самых простых и самых сложных артефактов и самых разных по своим характеристикам конструкций включает и способ связи, который мы называем причинностью. Можно также полагать, что модус простого связывания или склеивания находящихся в этом поле элементов дополнен в нем также модусом трансформации или превращения, изменения, т.е. возможностями появления в нем качественно новых конструкций. Остается открытым вопрос, обладает ли это поле не только связывающей, но и превращающей способностью, способностью создавать в нем нечто новое.

Михаил Ильин: Как и всякая метафора «клей» обладает эвристическим потенциалом, но одновременно ограничивает наше мышление и воображение. «Вязкость клея» акцентирует одну сторону дела, но скрывает от нас другую. Мы видим связанность явлений и процессов относительно момента наблюдения, но не видим, например, их динамизма и изменчивости за пределами момента наблюдения. Память о взаимодействиях и ожидания эффектов скрадываются и как будто исчезают.

Пространство связи предстает как «клей», когда темпоральность свертывается к наличному сингулярному моменту, и как «чудо порождения» при развертывании темпоральности.

Иван Фомин: Метафора клея имеет свои плюсы и минусы. Хороша она тем, что помогает нам отойти от привычного представления о том, что причинение происходит как бы линейно и в вакууме: ситуация А → ситуация Б. Такое представление причинности во многом сбивает с толку, поскольку описывает положение вещей, в котором игнорируется тот факт, что пространство, в котором происходит причинение, пронизано бесконечным множеством таких «стрелочек». И в некотором смысле оно оказывается действительно наполнено чем-то вроде каузального клея, связывающего все со всем.

Но есть у метафоры клея и свои ограничения. Когда мы говорим «клей», это заставляет нас думать о ситуации, в которой существует некто, отбирающий объекты для склеивания и инициирующий их соединение. С клеем причинности все несколько иначе – причинность оперирует не предоставленными ей объектами, а сама бесконечно ищет эти объекты.

Интересно здесь вспомнить триаду типов предзнания по В.М. Сергееву, которые различаются как раз в том, каким образом метафорически концептуализируют отношения, существующие в мире. *Номиналистский тип* представляет мир «плоским», существующим как набор атомарных событий с простыми стимул-реактивными связями, не объединенными никакой «теорией». *Структурный тип* формирует двухуровневую онтологию, в которой за действиями акторов стоят их роли и цели. *Холистский (процессуальный) тип* тоже производит двухуровневую онтологию, но уже другого вида: в ней механика функционирования реальности представляется непостижимой, на нее нельзя напрямую влиять и о ее состоянии можно судить лишь по косвенным проявлениям.

Думаю, каждый из этих типов представляет один из подходов к вопросу о понимании причинности. Номиналистский – упрощение каузальных отношений без проблематизации при-

чинности («просто и понятно»). Структурный – представление о сложности каузальных связей, но на фоне гносеологического оптимизма («сложно, но понятно»). Холистский – представление о сложности каузальных связей и об их непознаваемости («сложно и непонятно»).

Николай Розов: Наиболее адекватные представления об опосредующих причинах складываются в результате эмпирического анализа промежуточных процессов между известной или предполагаемой причиной и следствием. Если эти процессы, промежуточные звенья, опосредующие причины скрыты от наблюдения, относятся к прошлому и не воспроизводимы, как, например, причины давно прошедшей крупной войны, то приходится прибегать к воображению – порождению и формулированию гипотез об этих причинах. При этом используются как эмпирические обобщения относительно уже известных причин подобных войн, так и общие теоретические обобщения геополитического, геокультурного, социально-политического, психологического характера. Соответственно этим теориям и производится концептуализация гипотез. Далее предпринимаются попытки их проверки через известную логику вывода и тестирования эмпирических гипотез путем их сопоставления с фактами. Для социального прошлого, в частности, используются этапы и процедуры систематического сравнения специально выделенных исторических случаев, прописанные в методе теоретической истории.

Петр Панов: Мы «воображаем» опосредующие причины, на мой взгляд, точно так же, как и непосредственные. Если понимать познание как процесс мысленного упорядочивания эмпирической действительности, мне представляется, что оно неизбежно связано с «воображением». Под «воображением» в данном случае понимается не любая творческая «фантазия», а интеллектуальное предприятие, которое нацелено на упорядочивание наших представлений о мире с помощью определенных логических процедур (корректность аргументации, методологии и т.п.). Такое упорядочивание предполагает логически выверенные описания и объяснения, а значит – «выявление» различных форм взаимосвязей между явлениями, в том числе причинных.

Насколько оправдана гипотеза о том, что эвентуальной «субстанцией» или «природой» поля, опосредующего причинение, могут быть нечто подобное воображаемости, которой был посвящен выпуск МЕТОДА за 2012 г.?

Владимир Авдонин: Действительно, воображаемость как способность соединять однородное и разнородное и воображение как способность превращать одно в другое связаны с причинностью. Они конструируют новое, порождают причинные цепочки. Эти способности может, накапливаясь, прерывать постепенность, порождая внезапный конструкт, концепт, новую форму, понятие.

Михаил Ильин: Воображение и память можно рассматривать как атрибуты, а точнее, спутники разворачивающейся темпоральности. Собственно память и воображение как раз и создают «чудо порождения». Его можно трактовать и как «игру воображения». Впрочем, и как «игру памяти» тоже. А можно считать воображаемостью. Думаю, что это терминологически лучший вариант.

Иван Фомин: Наш ум неустанно выстраивает имажинативные связи между всевозможными объектами – конструирует отношения означивания, отношения осмысливания, отношения каузальности. И остановить эту интенциональную работу, пожалуй, можно лишь в результате особой внутренней медитативной практики.

Связывающая работа ума отнюдь не всегда рациональна. Бессознательные ассоциации суть тоже результаты такого имажинативного связывания.

Можно ли предположить, что в воображаемости как носителе причинности и заключены как формообразующие, ограничивающие, упорядочивающие способности и свойства, так и случайные или следовые границы и формы.

Николай Розов: В этой смелой метафизической гипотезе соединяются в едином «бытии» объективное поле опосредующих причин (онтологические сущности) и субъективная

воображаемость (гносеологические образы реальности). Такого рода попытки слияния онтологии и гносеологии не новы, они характерны для досократиков (Парменид и Гераклит), Платона и неоплатоников (Прокл, Плотин), буддийской философии (Нагарджуна, Асанга), арабской философии (ал-Газали), средневековой схоластики (Ансельм), мистики (Экхарт), Гегеля и гегельянства (Брэдли), Маха и махизма, Бергсона и Брентано, Гуссерля и всей феноменологической традиции, раннего Витгенштейна, теоретического экзистенциализма Сартра и фундаментальной метафизики Хайдеггера. В философии физики идеи единства реальности и наблюдения относятся к той же линии преемственности. Несмотря на столь солидные имена и авторитетные традиции, на мой взгляд, фундаментальное гносеологическое различие (субъект – объект, наблюдатель – наблюдаемое, образ предмета – предмет) хоть и не является абсолютным, неизменным, но для развития познания, для науки и методологической рефлексии совершенно необходимо. В связи с этим считаю предпочтительным отдельно говорить о поле опосредующих причин (онтология, предмет исследования) и о воображении, воображаемости (гносеология, образы, представления о предмете).

Опосредующие причины и их «поля» предельно разнообразны, сложны, различаются по множеству признаков, в том числе, по характеру и силе воздействия. Воображаемые модели и гипотезы относительно этих причин и полей эффективны в познавательном плане тогда, когда обладают ясностью, отчетливой понятийной конструкцией, что всегда предполагает существенное упрощение реальной сложности.

Петр Панов: Если говорить о «мыслительном поле», думаю – да, гипотеза вполне оправдана. Более того, мне представляется, что воображаемые взаимосвязи между явлениями – это отнюдь не только продукт «ума», который стремится упорядочить эмпирическую реальность. Социальная реальность (по крайней мере, во многом) сама является продуктом такого воображения. Речь идет о том, что Бенедикт Андерсон писал в книге «Нации как воображаемые сообщества». Так или иначе понимая (воображая) социальный мир, люди и ведут себя в соответствии с этим пониманием. Здесь наблюдается сложное переплетение. С одной стороны, социальные представления (воображение) возникают на основе «размышлений» об уже существующей социальной реальности, с другой стороны, социальная реальность – продукт соответствующих социальных представлений, т.е. «воображаемое» оказывается причиной эмпирических явлений. И здесь, кстати, мы снова наблюдаем «бесконечность» в причинных объяснениях. Почему люди ведут себя так или иначе? Потому что они воображают нечто такое, что «порождает» соответствующее поведение. Но это ставит следующий вопрос: а почему они именно это воображают? Почему именно такое воображение (такой образ реальности) получило распространение, признание? И так далее.

При этом, разумеется, никогда не было и, вероятно, не будет какого-то одного, унифицированного мыслительного образа этой реальности. Напротив, имеет место конкуренция различных представлений, и какие-то из них, овладевая умами, становятся «движущей силой» в социальном конструировании социальной реальности. Вообще говоря, социальные науки должны учитывать эту возможность (и действительность) разнообразия социальной реальности. Потому те теории, которые претендуют на универсальные объяснения, и вызывают некоторое подозрение.

Что можно сказать об этой «природе» воображаемости?

Владимир Авдонин: Можно усмотреть в воображаемости сходство с интеллектуальной интуицией Декарта, самопорождающим и самопознающим духом Гегеля или синтетическим а priori Канта. Впрочем, все три эти версии слишком рационалистичны в духе классического Модерна. Возможно, «воображаемость» ближе к постмодернистскому и постструктуралистскому тренду, к аморфности, нечеткости, слабой структурированности, мозаичности. Если продолжить образные аналогии, ее можно уподобить океану Соляриса, коль скоро она спо-

собна порождать как строгие логические конструкторы, подобные доказательствам математических теорем, так и фантастические видения «игры воображения».

Михаил Ильин: Воображаемость делает отдельные случайности совокупно неслучайными. Люди пытаются понять и объяснить мир, делая тем самым и его в целом, и отдельные его проявления неслучайными, воображенными, понятыми, объясненными.

Иван Фомин: Воображаемое действительно слабоструктурировано, поскольку существует в состоянии «всевозможности». В нем можно лишь пытаться усмотреть некоторые базовые врожденные (архетипические) или сконструированные (социальная воображаемость) силовые линии. И эти линии не столько определяют продукты, производимые из всевозможности воображаемого, сколько тем или иным образом эти продукты систематически искривляют.

Во всевозможности воображаемого берет начало все, что сконструировано. Лишь благодаря воображаемому возможно оперирование знаками, поскольку для их использования необходимо *вообразить* связь между знаком и смыслом, смыслом и значением. Также благодаря воображению становится возможно и воображение многих других связей, из которых и соткан человеческий мир, – связи между причиной и следствием, субъектом и объектом, завязкой и кульминацией, прошлым и будущим, желаемым и действительным и т.д.

Петр Панов: Рассматривая «природу» воображаемости, я бы, в первую очередь, провел различие между индивидуальной и социальной воображаемостью. Социальное воображаемое, как мне представляется, является для индивида ограничением его свободы. Социализированный индивид мыслит (и тем самым воображает мир) социальными категориями, мифами, стереотипами и т.п. Он по определению не свободен от них. Ключевая загадка, на мой взгляд, в том, как, когда и почему в рамках этих ограничений, т.е. «социальной несвободы», у субъекта возникают новые идеи. Связь воображения и свободы, как мне кажется, проявляется не в любом воображении, а именно в таких творческих актах – воображении нового, такого, что прежде не воображалось. И это в полной мере относится к научному творчеству, когда исследователь обнаруживает новые взаимосвязи между явлениями, предлагает новые объяснения, создает новые теории и т.д.

Если воображаемость – «клей мира», поле, субстанция, «кривизна», понижывающая пространство, то насколько она все же может быть подчинена строгой форме, структуре, логосу, причинной необходимости, а насколько – свободна, бесформенна, случайна?

Владимир Авдонин: Отвечая на этот вопрос можно отталкиваться от «Логики случая» Кунина. В этом случае постулат бесконечности пространства и времени с логической необходимостью порождает представление о бесконечных случайностях, которые порождают бесконечное число процессов и форм в бесконечном числе вселенных. Скрыта ли в воображаемости логика бесконечных случайностей, а в ее фундаменте релятивистский тезис – «возможно все»?

Николай Розов: Здесь «свобода, бесформенность и случайность» относятся как раз к сложной реальности причин, а «строгая форма, структура, логос» – к описывающим эти причины понятийным и логическим конструкциям. Наиболее продуктивным способом представления причинности показал себя подход К. Поппера и К. Гемпеля, когда причинная необходимость (предмет, онтология) представляется как логическая дедуктивная необходимость в формулировках гипотез и теоретических положений (образ, описание предмета, гносеология). Можно вспомнить классическую статью К. Гемпеля «Функция общих законов в истории».

Петр Панов: Мне кажется, любая творческая воображаемость возникает все же в некоем социальном контексте. Гипотетически можно вообразить все что угодно и как угодно, но чтобы «это» вышло за рамки индивидуального сознания, оно должно быть воспринято, понято и (потенциально) принято другими людьми. То есть и творческая воображаемость не абсолютно свободна. По форме, структуре и т.д. продукт творческого воображения должен

соответствовать принятым нормам, образцам. Если, например, говорить о современном научном творчестве, новые («открываемые») взаимосвязи, теории должны выдерживать проверку принятыми в данной парадигме принципам. Разумеется, парадигмы трансформируются и сменяются, но и это происходит не по мановению палочки, а представляет собой результат социальных взаимодействий.

Существуют ли в пластичном и изменчивом пространстве воображаемости пределы и границы причин и причинности? Как соотносятся пределы причинности с упорядоченностью мира форм?

Николай Розов: Это «пространство воображаемости», если вообще существует, не только «пластично и изменчиво», но также крайне зыбко и расплывчато, так что вряд ли обладает какими-либо четкими границами.

Пределы, или границы, причинности в «пространстве воображаемости», как сказано выше, не существуют. А вот в реальности такое словосочетание вполне может быть осмыслено: предел причинности некоторого явления (процесса, фактора) находится там, где сила причинного воздействия становится малой до неразличимости.

«Мир форм» как идея, видимо, происходит от платоновских эйдосов, аристотелевских форм, схоластических универсалий, лейбницеvских монад, кантовского ноуменального мира, маховских элементов, шпенглеровских архетипов и гуссерлевских феноменов сознания. Если таковой и существует, то каждой форме приписаны и пределы причинности (например, Творцом). Весь этот платонизм с его последующими аватарами, мягко говоря, сомнителен, хоть и перманентно соблазнителен (о чем свидетельствует постановка вопроса).

А что же есть вместо него? Прежде всего, существует окружающий нас материальный мир, данный нам прямо через органы чувств, или через посредство приборов, или через надежную, проверяемую теоретическую интерпретацию данных, получаемых этими приборами (микрочастицы, далекие звезды, планеты, галактики), а также социальный и культурный миры, скрытые сущности и процессы которых открываются нам через специальные методики наблюдения, обобщения, анализа, реконструкции (методики в социальных и исторических науках – аналоги приборов в естествознании). В этих мирах происходят разные процессы, в том числе, однотипные, подчиняющиеся сходным законам: физическим, химическим, биологическим, социальным, культурным. Поэтому возникают и сходные формы: окружности, эллипсы, прямые отрезки, концентрические круги, спирали, волны, шары, капли, древесные, сетевые структуры, циклы, подъемы и падения и т.п. Обобщение морфологического сходства таких феноменов вполне может приводить и приводит к идее «мира вечных форм». Однако приписывать этим формам причины и «пределы причинности» не следует. Причинность характеризует сами процессы (от физических до социальных и культурных), а не сходства порождаемых этими процессами форм.

Владимир Авдонин: Можно представить такую динамику: по мере углубления познания и приближения его к границам, отделяющим конечное от бесконечного, влияние на него бесконечного и случайного возрастает. Растет ли на этих «краях» роль релятивного, случайного в воображаемости? Если воображаемость и подчиняется строгим формам, то на границах познания можно предположить, бесформенное, свободное и случайное, находящееся в ее фундаменте, проявляет себя активнее и ярче. Не исключено, что на этих границах падает и роль строгой причинности.

Напрашивается предположение, что познание воображаемости может быть осуществлено через деконструкции форм. Однако далеко не очевидно, что сами по себе деконструкции, «разборка», «демонтаж» позволят обнаружить тот зыбкий «клей» и бесформенное и свободное основание, на котором покоятся формы. Числа, знаки, случаи, морфологические формы – элементарные представители форм, они относятся к формальной стороне действительности, к ее граничным, конечным, оформляющим основаниям, они «оформляют бесформенную мате-

рию» (Аристотель), связывая форму с содержанием. Но связывают ли они это с помощью поля (клея) воображения? Тут возникает целый ряд вопросов. Можем ли мы в анализе «вычесть» бесформенное в воображении и заниматься чистыми формами или «вычесть» формы и заниматься чисто хаотическим воображением? Возможен ли этот отдельный анализ? И значит ли, что в элементарных формах воображаемость «подчиняется» форме и форма все-таки «управляет» этой связью, этим полем?

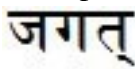
Власть природы

Наука без границ

А.Ю. Петейом

Вводные замечания

В Греции, ставшей колыбелью европейской и мировой науки, говоря о природе и народе, издревле использовали одно слово – *κόσμος*. В китайском языке иероглиф # (ти) отражает понятия о явлениях как материального, так и нематериального происхождения (телах, органи-

зациях, моделях, этиках и т.д.). На санскрите  (jagat) может обозначать и землю, и людей с животными. Этот перечень терминологических неразрывностей можно было бы продолжить. Единство мира в представлениях традиционного общества закреплялось мифами о генетической связи человека с вещественными стихиями.

Развитие познавательной деятельности привело к аналитической специализации, а последствием специализации стало отчуждение субъекта от рассматриваемого объекта и отчуждение исследователей, изучающих разные части целого. Как будет показано ниже, путь к решению проблемы необходимого синтеза лежит через восстановление системообразующей роли космоса.

Рассказывает Анатолий Франс: «Находясь несколько лет тому назад в одном большом европейском городе, которого не буду называть, я пошел осматривать музей естествознания; один из хранителей его чрезвычайно любезно давал мне объяснения о животных окаменелостях. Он сообщил мне множество сведений, кончая эпохой плиоцена. Но как только мы дошли до первых следов человека, отвернулся, объявив, в ответ на мой вопрос, что это – не его витрина. Я понял свою бестактность. Никогда не надо спрашивать ученого о тайнах мироздания, которые не в его витрине. Они его не интересуют».

Уже с первых лет обучения нас приучают думать, что все окружающее поделено на предметы, соответствующие предметам школьной программы, и эта установка (как сказал бы Д.Н. Узнадзе) затем пожизненно закрепляется университетской специализацией. Причина утверждения фрагментарной картины мира в головах людей заключается не только в требованиях индустриальной цивилизации. Таковы особенности нашей психики, в поисках порядка мы склонны ассоциировать явления по признакам подобия. «Мне кажется, – размышлял Ж.Л.Л. де Бюффон более 200 лет назад, – что единственным средством создать инструктивную и естественную систему является собирание вместе предметов похожих и разделение тех, которые отличаются друг от друга». Однако часто это путь к серьезным заблуждениям. В истории науки известен случай ошибочного объединения организмов на уровне царств, когда животные коралловые полипы причислялись к растениям. Развитие точных методов раскрывает все более глубокую индивидуальность вещей при их внешней близости. Особых успехов в этом направлении добилась генетика человека, показавшая обособленность древних этносов – бушменов, готтентотов, саамов и др.

Наука повсеместно организована по отраслевому принципу, и пересечение междисциплинарных границ в конкретных исследованиях случается сравнительно редко. Однако именно нетрадиционный подход, как хорошо известно, обеспечивает наибольший прирост нового знания. Само обращение к нему воспринимается как открытие. Характерно признание извест-

ного эколога: «...привыкнув к пониманию фитоценоза как совокупности взаимодействующих растений», он «вдруг уяснил, что эти взаимодействия между высшими, слагающими сообщества растениями не являются прямыми и органически необходимыми отношениями... Что, напротив, прямыми органическими отношениями эти растения связаны с животными (хищниками, паразитами, вредителями) и многими низшими гетеротрофными растениями, например с микоризообразующими грибами. Здесь отношения неизмеримо более тесные, скрепленные функциональными и обратными связями... Более важны и более остры не взаимоотношения пары стоящих рядом сосен, а взаимодействия между ними и микоризообразующим масленком, между ними и питающейся их семенами белкой. Сопоставив пару деревьев и их очень сложные консорции, можно понять, что сообщество следует рассматривать шире и глубже» [Быков, 1973]. Аналогично мог бы думать и социолог.

В свое время большие надежды возлагались на системное движение как средство выхода за пределы изолированных аналитических ниш. К сожалению, реальные результаты оказались достаточно скромными. Не наблюдается значительного прогресса в изучении самой актуальной темы – связей между разнородными явлениями. Как представляется, причина замедленного развития синтеза состоит в том, что в качестве систем обычно рассматриваются объекты, которые были выделены старым априорным способом по признакам сходства.

Адекватные методы познания целого должны быть логичным продолжением процесса формирования новой картины мира, ориентирующей на взаимопроникновение наук. Есть основания полагать, что необходимым конструктивным потенциалом обладает эмпирическое обобщение о нуклеарных системах хорионов, созданных сгустками энергии [Ретеюм, 1988].

Практически важная часть спектра этих систем находится в диапазоне между Галактикой и атомами. Человеческие группы вместе с продуктами их материальной и духовной культуры образуют самостоятельный тип систем, включающих измененную и преобразованную природу. Общественно значимыми системообразующими началами служат и отдельные личности – лидеры, пассионарии (по Л.Н. Гумилёву), а также высокоактивные очаги головного мозга некоторых людей (доминанты А.А. Ухтомского).

Какие же гносеологические средства подходят для реальных систем? К ответу на вопрос попытаемся подготовить почву, отдавая предпочтение областям, близким к *Terra incognita*.

Пространственное и временное сканирование

Для изучения нуклеарных систем предлагаются методы сканирования. План мысленного эксперимента строится как проверка гипотезы тесного взаимодействия ядра и оболочек, причем состав избранного объекта заранее не известен и на него не накладывается никаких ограничений. Структура выявляется с помощью ряда профилей, на которых мы прослеживаем изменения в пространстве-времени определенных чувствительных и важных для нас показателей от центра к периферии. Для временного сканирования лучше всего отработан метод наложенных эпох, предложенный Ч. Кри. Увеличением числа индикаторов и точности их фиксации достигается все более полное отражение свойств системы, при этом границы ее постоянно расширяются. Упрощенная оценка парных связей также может дать достаточную информацию.

Рассмотрим два примера предварительной диагностики. Первый пример показывает демографическую роль Москвы на областном и государственном уровнях (см. приложение: рис. 1 и 2).

Состояние человеческих популяций, как установил А.Л. Чижевский, во многом зависит от колебаний солнечной активности. Накопленная к настоящему времени информация позволяет сделать еще один шаг в исследовании социально-экономического значения возмущений окружающей среды, вызванных космическими силами. Речь идет о неизвестных последствиях воздействия на биосферу планет Солнечной системы, способных модулировать галактические

космические лучи, а также ускорять и замедлять вращение Земли, тем самым меняя климат и условия жизни людей. Вторым пример сканирования иллюстрирует один из эффектов орбитального движения Юпитера, реальность существования которого доказывается осреднением за длительное время (см. приложение: рис. 3).

Метод сканирования приближает нас к решению фундаментальной проблемы происхождения человека.

В 1950 г. О.Г. Шиндевольф в своем курсе палеонтологии выдвинул предположение, что проникающее излучение сверхновых звезд и порожденные им радиоактивные элементы могли быть причинами катастрофических вымираний животных и последующей смены биот. В пользу гипотезы импульсно-энергетического мутагенеза свидетельствуют аномалии изотопного состава морских отложений и обновления фаун. В последнее время обнаружены признаки генетических преобразований и повышения уровня организации у рода Номо на ранних стадиях его развития, приходящиеся на момент всплеск сверхновых. Пионерная работа по действию галактических излучений на интеллект принадлежит Е.С. Виноградову [Виноградов, 1989], обнаружившему увеличение рождаемости выдающихся личностей после самой яркой из известных всплесков сверхновых, произошедшей в 1006 г.

Для уверенного суждения о мутагенном влиянии космоса на человеческий организм необходимы данные синхронных наблюдений по сериям событий. Нужную информацию можно получить, если сопоставлять показатели рождаемости при низкой и высокой солнечной активности. Интенсивность галактических космических лучей резко возрастает благодаря ослаблению солнечного ветра, когда Солнце спокойно, так что при наличии месячной демографической статистики есть вероятность обнаружения эффекта. Сканирование уникального с точки зрения длительности и разрешения полуторавекового ряда по Исландии приводит к выводу, что повышение уровня космического излучения влечет за собой сравнительно небольшое, но устойчивое (проявляющееся уже при осреднении за три года) увеличение рождаемости (см. приложение: рис. 4).

Итак, имеются некоторые предпосылки для детального изучения феномена космической обусловленности генетических процессов. Последний долговременный подъем интенсивности галактических лучей относится к эпохе Дальтоновского минимума солнечной активности. Логично предположить, что начало XIX в. должно быть отмечено значительным ростом числа родившихся выдающихся людей. Результаты обработки материалов за 70 лет безусловно говорят в пользу этой гипотезы (см. приложение: рис. 5).

В последние годы выяснилось, что Солнце реагирует на движение планет. Гигантский звездоподобный Юпитер оказывает негативное влияние на солнечную активность, когда он близок к точке перигелия. Этот факт подводит к мысли о проведении следующего мысленного эксперимента с целью определения космических условий появления на свет поэтов, которые наделены даром острой отзывчивости, ощущая и «неба содроганье, / И горний ангелов полет, / И гад морских подводный ход, / И дольней лозы прозябанье». Поэты, наиболее полно выражающие дух своего народа, чаще всего рождаются в годы после сближения Юпитера с Солнцем при аномально высоком уровне галактического космического излучения (см. приложение: рис. 6).

Таким образом, человек – главный предмет внимания науки – входит в состав и земных, и космических нуклеарных систем.

Метод ПОЭ

В обществоведении и естествознании, в обстановке отраслевой специализации ныне абсолютно господствуют методы анализа простых парных связей. Чаще это связи «на предмет» и значительно реже – связи «от предмета». Совершенно очевидно, что тем самым мы как бы

расчленим мир, чтобы затем уже не собрать воедино полученные фрагменты. Явная недостаточность такого подхода породила представления о цепных реакциях в природе и обществе подобных тем, что в свое время изучали М. Боденштейн и Н.Н. Семенов на уровне молекул. Однако они не получили развития, достаточного для разработки метода. Исключений всего два: метод трофических пирамид в экологии, предназначенный для описания потоков энергии и химических элементов в сообществах организмов (включая человека), и метод межотраслевого баланса в экономике, регистрирующий товары при их движении от производителей к потребителям. Показательно, что оба средства нельзя использовать для выявления внешних связей, и они до сих пор не объединены (что казалось бы естественным с позиций теории природопользования).

Метод прослеживания однопричинных эффектов (ПОЭ), сводящийся к анализу и синтезу разветвленно-цепных связей, помогает понять устройство нуклеарных систем. При отсутствии междисциплинарного коллектива использование его затруднено. Принципиальное значение имеет выбор объекта, работа с которым должна обеспечивать однозначность заключения о влиянии рассматриваемого ядра системы.

Ситуации мысленного эксперимента в данном случае лучше всего подходят стихийные явления. Метод ПОЭ и сам выбор темы требует сбора преимущественно количественной информации, но, к сожалению, статистическая база ограничивает поле зрения лишь частями отдельных цепочек. Тем не менее и первое приближение может принести пользу, прежде всего, установлением причин, масштабов последствий и прогностическим выводом.

Одно из самых серьезных стихийных явлений, случившихся на территории России в последнее время, – жара летом 2010 г., когда температура воздуха достигла рекордных значений. Циркуляционные процессы, которые бы могли привести к возникновению беспрецедентной аномалии, не обнаруживаются. Вероятно, мы сталкиваемся с действием космических сил. Анализ планетных конфигураций подтверждает это предположение – произошло редчайшее событие в движении светил, занявших строго симметричное положение по отношению к Земле (см. приложение: рис. 7).

Вызванные планетами возмущения в ядре и оболочках Земли привели к увеличению более чем в три раза числа землетрясений с магнитудой $M \geq 4$ по сравнению со средним уровнем в умеренных широтах ($45^\circ - 70^\circ$) Северного полушария. Это свидетельство деформаций земной коры и мантии, сопровождавшихся усиленным выделением из недр водорода и метана, которые разрушают озоновый слой [Сывороткин, 2002]. В итоге произошел интенсивный прогрев тропосферы.

Засушливая погода резко снизила урожаи всех сельскохозяйственных культур¹.

Оценку ущерба можно произвести путем сопоставления сборов продуктов растениеводства в 69 пострадавших регионах в период 2009–2011 гг. Потери: по зерну – 34,7 млн т, по семенам подсолнечника – 2,7 млн т, по сахарной свекле – 14,5 млн т, или, соответственно, 42,3, 50,5 и 63,6% от средних сборов за 2001–2010 гг. Урожаи картофеля (фиксируемые с меньшей точностью) сократились примерно на 40%. Заявленные убытки производителей возросли на 15 млрд руб.

Общие потери земледелия от засухи оцениваются суммой порядка 400 млрд руб., что составляет около 5% приходной части федерального бюджета.

Недобор сельскохозяйственной продукции потребовал новых капиталовложений в 2011 г. Объем дополнительных инвестиций составил 71,7 млрд руб.

От жары пострадали леса в 42 субъектах Федерации. Лесными пожарами в 2010 г. пройдена площадь на 983,8 тыс. га больше, чем в среднем в 2009 и 2011 гг. Можно установить

¹ Ниже приведены цифры, полученные расчетами по данным Росстата.

только условно-минимальный размер потерь лесного хозяйства, эквивалентный стоимости сгоревшей древесины на внутреннем рынке; она измеряется примерно 14,7 млрд руб.

Высокая температура и загрязнение воздуха летом 2010 г. увеличили смертность в 74 субъектах Федерации. Людские потери оцениваются 61,5 тыс. человек (таково население города типа Дубны).

Еще один результат засухи: неурожай и лесные пожары вынудили около 120 тыс. человек изменить место своего жительства.

Прослеживание иных связей затруднено по субъективным и объективным причинам: отсутствием информации и уменьшением величины эффектов (типичным для нуклеарных систем, имеющих ограниченное число звеньев в их разветвленно-цепных реакциях).

После 1947 г. в истории России не было стихийных бедствий такого масштаба. Можно ли найти способ предвидения крупных климатических аномалий? Для решения задачи следует начать с выяснения зависимости температуры (или давления) атмосферы от движения пары «Сатурн – Юпитер», которая играет ведущую роль в регулировании активности Солнца и вращения Земли. Ключевым показателем должна служить разность геоцентрических долгот планет. Использование его дает эмпирическое обобщение о ритмическом характере искомой связи, показывающей очень высокую вероятность возникновения положительной аномалии температуры именно в 2010 г. (см. приложение: рис. 8).

Обнаруженная закономерность открывает путь к сверхдолгосрочному прогнозу. По предварительным расчетам, значительное повышение температуры приземного слоя воздуха в Северном полушарии может произойти в 2022 г., а ранее, в 2014–2015 гг., весьма вероятно похолодание. Для уточнения прогноза требуется учет воздействия на Землю всей Солнечной системы и привлечение региональных данных.

Как видим, метод ПОЭ имеет определенный конструктивный потенциал.

На глобальном уровне

Общественная жизнь протекает среди природных энергетических аномалий, которые накладывают свой отпечаток на хозяйственную и иную деятельность человека. Вдоль широт 35° протягиваются две глобальные линейные аномалии, проявляющиеся в повышенной частоте землетрясений. Их происхождение, как доказал А. Веронне еще 100 лет назад, связано с концентрацией напряжений земной коры при осевом сжатии и растяжении земного шара.

М.В. Ильин [Ильин, 2007] рассматривает пояс тридцать пятой параллели Северного полушария, берущий начало от Гибралтарского пролива, как мировой геополитический стержень. В самом деле, в этом поясе сосредоточены центры многих мировых цивилизаций, прежде всего крито-минойской и китайской, а в наши дни в нем разворачиваются события глобального масштаба.

Поразительное открытие сделано недавно А.Е. Федоровым [Федоров, 2011], установившим на основе фактического материала по четырем континентам приуроченность очагов вооруженных конфликтов к местам тектонических дислокаций. Поскольку средиземноморской пояс сейсмически очень активен, можно ожидать, что он выступает своего рода генератором межгосударственных и межэтнических столкновений. Результат пространственного сканирования показывают, что это действительно так (см. приложение: рис. 9 и 10).

Кроме средиземноморского пояса, межэтнические вооруженные конфликты с повышенной повторяемостью возникают в экваториальном поясе, который также представляет собой геодинамическую аномалию, выделяющуюся большим количеством землетрясений и вулканических извержений.

Чем объясняется феномен повышенной агрессивности людей, проживающих в районах тектонических деформаций? Можно высказать предположение, что это одно из последствий

дегазации жидкого ядра планеты. Водород, выделяющийся на земную поверхность, в организме человека играет роль главного поставщика энергии и действует как мощный антиоксидант. В эксперименте [Ohta, 2011] обнаружены многообразные биохимические функции водорода, включая экспрессию генов, т.е. процесс преобразования наследственной информации в РНК и белки.

Углубленное изучение связей человека с недрами Земли безусловно даст практические решения проблемы обеспечения безопасности.

Резонансы

Человек в высокой степени подвержен влиянию электромагнитных полей, в которых иногда возникают возмущения при вторжении в атмосферу Земли частиц солнечного ветра. Крайне важно, что порождающие их вспышки и коронарные выбросы плазмы распределены во времени не случайным образом, но подчиняются определенной закономерности. Они связаны с резонансами планет в эфирной среде. Особенно сильно звезда реагирует на октавный резонанс ближайших к ней Меркурия и Венеры, когда между полуосями их орбит достигается отношение в точности равное 1 : 2 (см. приложение: рис. 11).

Протонные события приводят к магнитным бурям, вызывающим серьезные сердечно-сосудистые и мозговые нарушения. Очевидно, происходят и психические расстройства, которые могут быть зафиксированы статистикой. Для изучения этого феномена лучше всего подходят акты терроризма (время совершения которых хорошо известно). Риск террористических актов резко увеличивается за день до октавного резонанса Меркурия и Венеры, как раз тогда, когда плазма от вспышек и коронарных выбросов массы достигает Земли (см. приложение: рис. 12).

Планетные резонансы – возможная причина многих аварий, обусловленных ошибками людей и отказами техники. Обработка данных по Австралии показывает, что за несколько дней до октавного резонанса Меркурия и Венеры частота автомобильных аварий со смертельным исходом увеличивается на 2–3% (см. приложение: рис. 13).

В свете имеющейся статистики представляется вполне вероятной космическая причина крупнейшей Чернобыльской катастрофы. Событие произошло в момент очень редкого двойного резонанса между основными в Солнечной системе парами планет – Меркурием с Венерой и Юпитером с Сатурном, когда отношение размеров их полуосей достигло 99 и 99,8% от резонансных порогов – 0,6 (мажорная секста в теории гармонии) и 0,5 (октава). Дополнительным аргументом в пользу предложенной гипотезы служит тот факт, что число землетрясений с магнитудой $M \geq 4$ в континентальном секторе Восточного полушария 26 апреля 1986 г. было максимальным за три месяца.

Знание ближайших дат важных резонансов может сделать для нас более предсказуемым поведение людей и техники.

К устойчивому развитию

Конечная цель науки – устойчивое развитие. Для ее достижения нужно знать, какие последствия влечет за собой проведение политики невмешательства государства в социально-экономические процессы. Примеры типичных ошибок дает новейшая история Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки.

Интегральным показателем отношения общества к окружающей среде может служить сумма финансовых расходов на природоохранные нужды. В России ситуация внешне кажется благополучной, так как абсолютные величины затрат растут, однако в относительном исчислении они имеют многолетнюю тенденцию к снижению (см. приложение: рис. 14).

В США затраты труда, новые технологии, неэквивалентный обмен товарами и услугами со странами мира, а также использование ренты положения создают условия для материального благополучия. Одним из результатов больших финансовых поступлений является внедрение экологических инноваций, в частности «зеленых» стандартов LEED в гражданском строительстве. Распространение LEED по стране определяется уровнем обеспеченности населения: чем выше доходы, тем больше строится «зеленых» домов (см. приложение: рис. 15).

Однако сами по себе инфраструктурные и иные технические нововведения не обеспечивают переход к устойчивому развитию. Судя по статистике, получение высоких доходов (свыше 55–60 тыс. долл. на домовладение) сопровождается целым рядом негативных эффектов, включая падение рождаемости и сокращение работоспособного населения. Рост доходов сопряжен с ухудшением психического здоровья (см. приложение: рис. 16).

Очевидно, переход на путь устойчивого развития реален только при внедрении социально-экологических и эколого-экономических новаций, что невозможно без коренного изменения руководящей политической парадигмы.

Заключение

Вышеизложенное позволяет сделать следующие выводы.

1. Для преодоления междисциплинарных средостений, замедляющих развитие науки и общества, нужны методы апостериорного системного анализа и синтеза.
2. Анализ, необходимый для решения всех современных задач, должен выполняться, исходя из представлений о существовании некоего целого, обязательно включающего в себя природу и человека с его культурой и техникой.
3. Модернизация общества невозможна без подготовки в университетах генералистов, обладающих системным видением и соответствующими знаниями.

Список литературы

- Быков Б.А.* Геоботанический словарь. – Алма-Ата: Наука, 1973. – 215 с.
- Виноградов Е.С.* О физических факторах интеллекта // Вопросы психологии, – М., 1989. – № 6. – С. 108–115.
- Ильин М.В.* Геохронополитика // Политология: лексикон / Под ред. А.И. Соловьева. – М.: РОССПЭН, 2007. – С. 37–48.
- Ретейом А.Ю.* Земные миры. – М.: Мысль, 1988. – 266 с.
- Сывороткин В.Л.* Глубинная дегазация Земли и глобальные катастрофы. – М.: ООО «Геоинформцентр», 2002. – 250 с.
- Федоров А.Е.* Влияние геологических факторов на вооруженные конфликты 1945–2010 гг. и начало Второй мировой войны // Система «Планета Земля». – М.: ЛЕНАНД, 2011. – С. 416–510.
- Ohta S.* Recent progress toward hydrogen medicine: Potential of molecular hydrogen for preventive and therapeutic applications // Current pharmaceutical design. – Schiphol, 2011. – Vol. 22. – P. 2241–2252.

ПРИЛОЖЕНИЕ

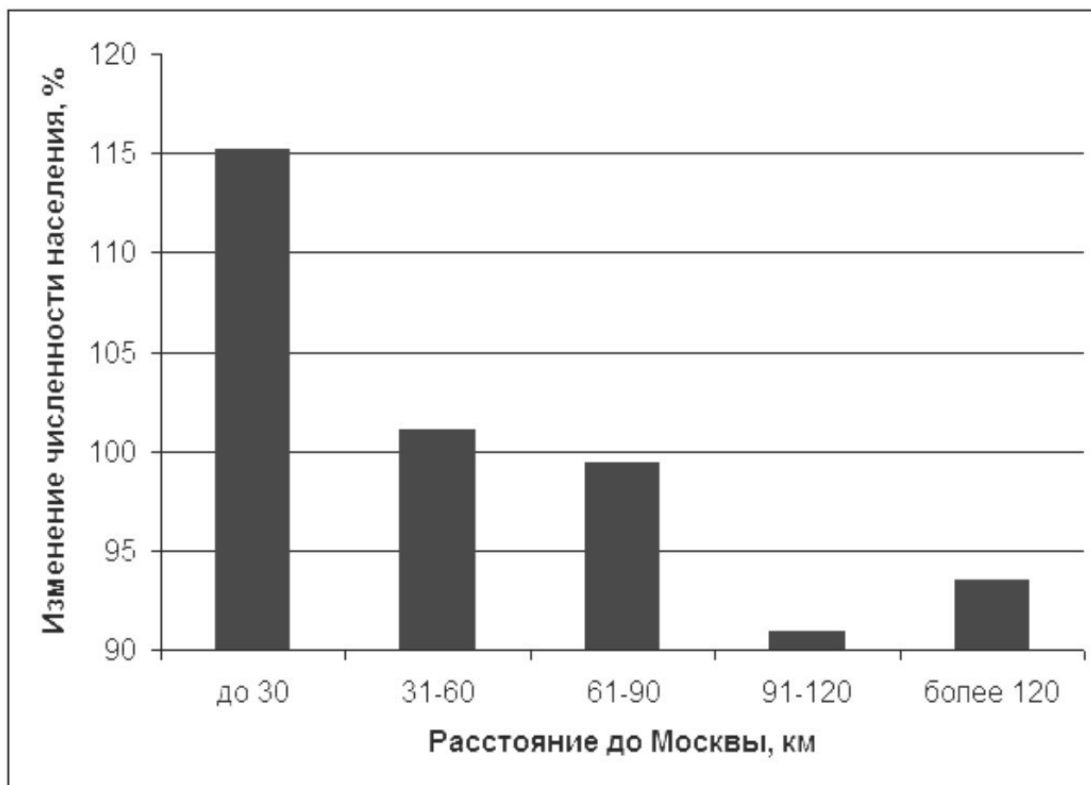


Рис. 1. Влияние Москвы на изменение численности населения в 79 городах Московской области за период 1992–2010 гг.

Источник: расчет по данным Росстата.

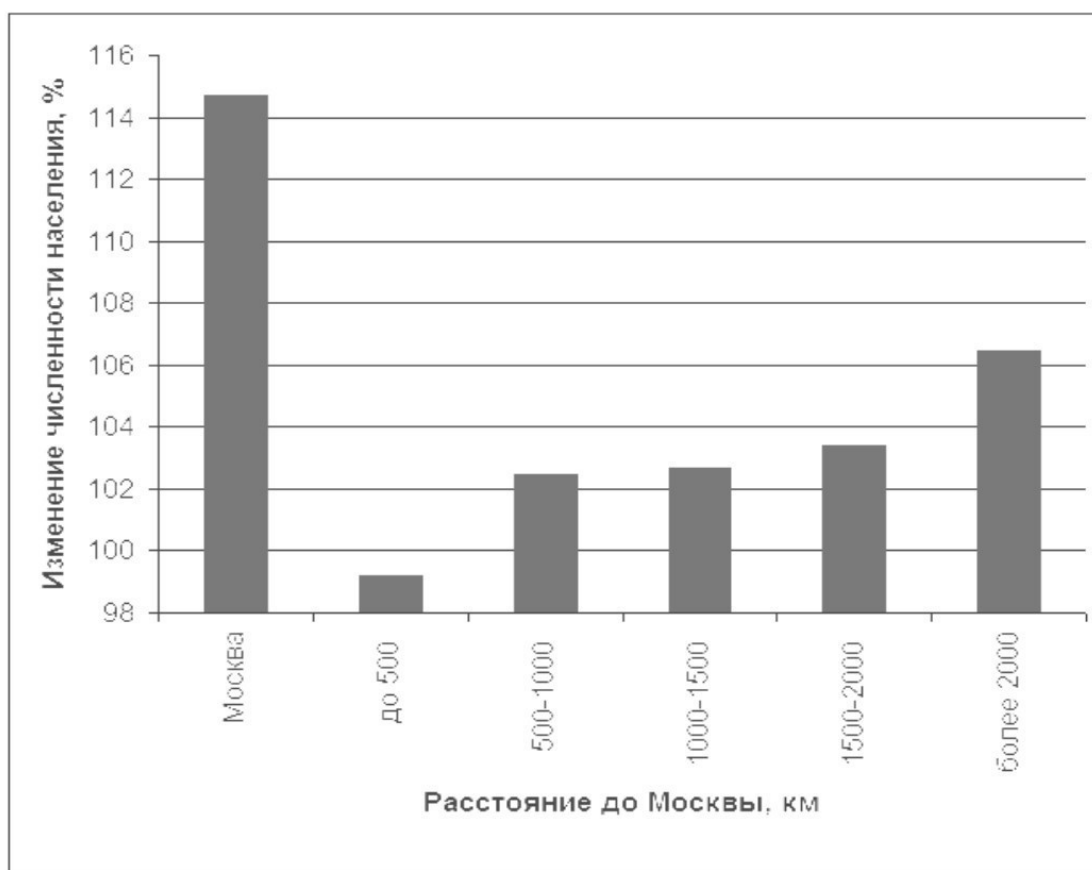


Рис. 2. Влияние Москвы на изменение численности населения в центрах субъектов Федерации за период 2002–2012 гг.

Источник: расчет по данным Росстата.

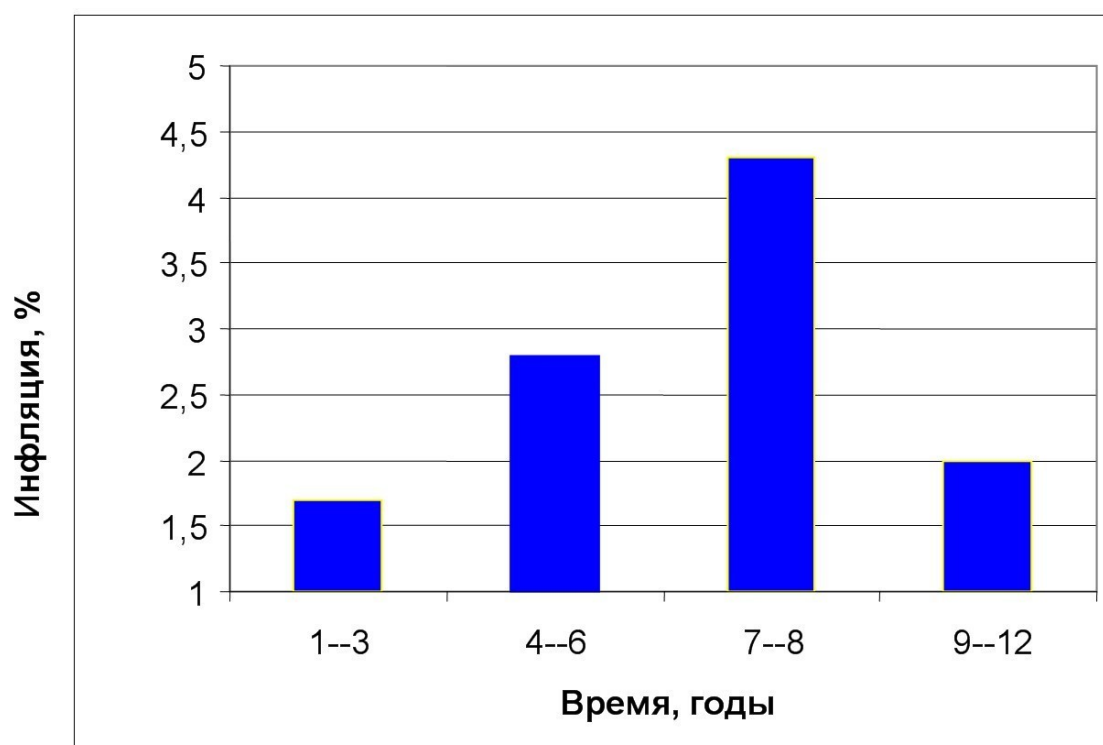


Рис. 3.

Темпы инфляции в экономике Швеции по годам обращения Юпитера в период 1839–2004 гг. (осреднение по 15 циклам)

Источник: расчет по данным Statistics Sweden.



Рис. 4.

Рождаемость в Исландии при активном и спокойном Солнце в период 1855–2009 гг. (осреднение со сдвигом на девять месяцев и поправкой на линейный тренд)

Источник: расчет по данным Statistics Island и Royal Observatory of Belgium.

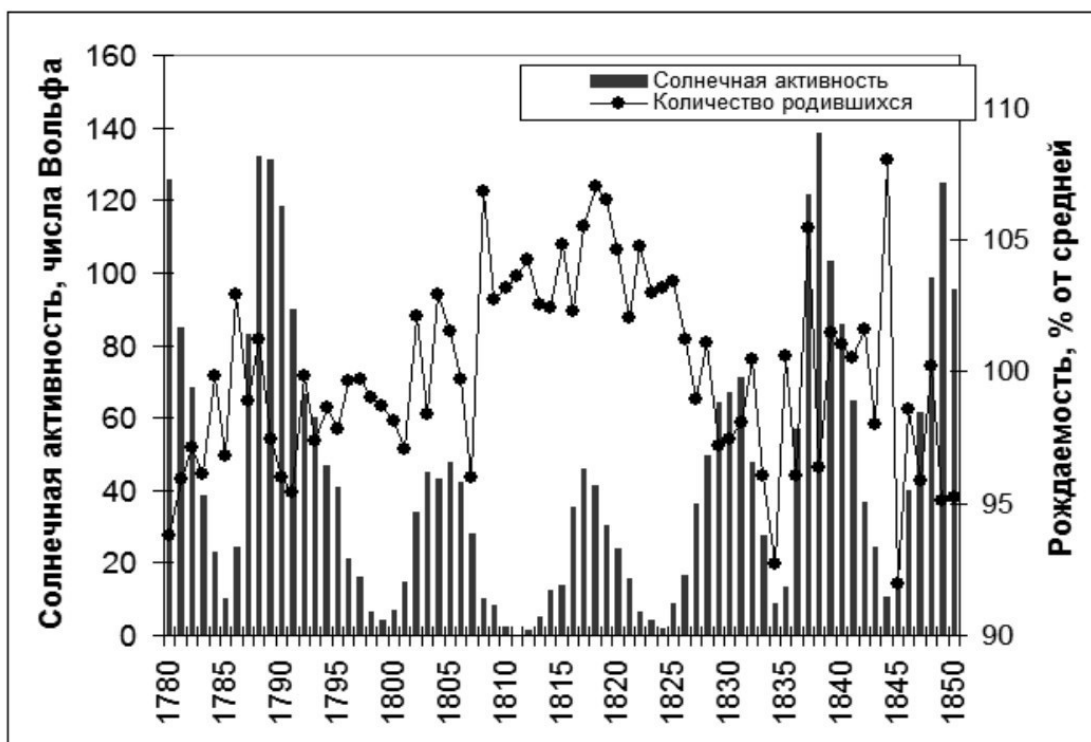


Рис. 5.

Солнечная активность и рождаемость выдающихся людей в 1780–1850 гг. (осреднение с поправкой на линейный тренд, выборка по 67 285 биографий)

Источник: расчет по материалам Wikipedia и данные The Royal Observatory of Belgium.



Рис. 6.

Распределение дат рождения национальных поэтов по годам цикла Юпитера (осреднение, выборка по 100 народам мира)

Источник: расчет по материалам Большой советской энциклопедии (2 изд.), Encyclopædia Britannica, Wikipedia, справочников и антологий.

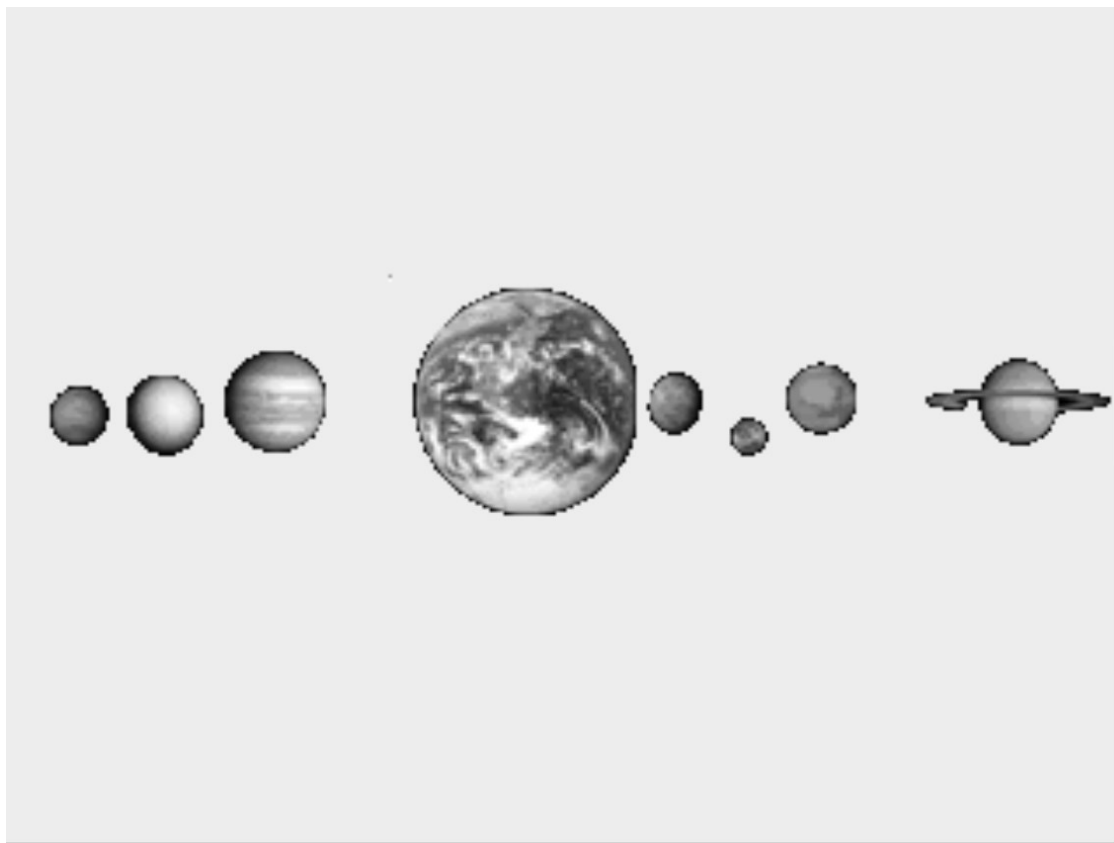


Рис. 7.

Положение планет в июле 2010 г. (условный масштаб)

Источник: расчет по программе Alcyone Ephemeris 3.



Рис. 8.

Зависимость глобальной месячной аномалии температуры воздуха² у земли от разности долгот Сатурна и Юпитера в 1880–2012 гг.

Источник: расчет по данным National Climatic Data Center, National Oceanic and Atmospheric Administration с использованием программы Alcyone Ephemeris 3.

² Аномалия – это отклонение температуры от средней величины за период 1901–2000 гг., оно определяется ежемесячно по материалам наблюдений мировой сети метеорологических станций.

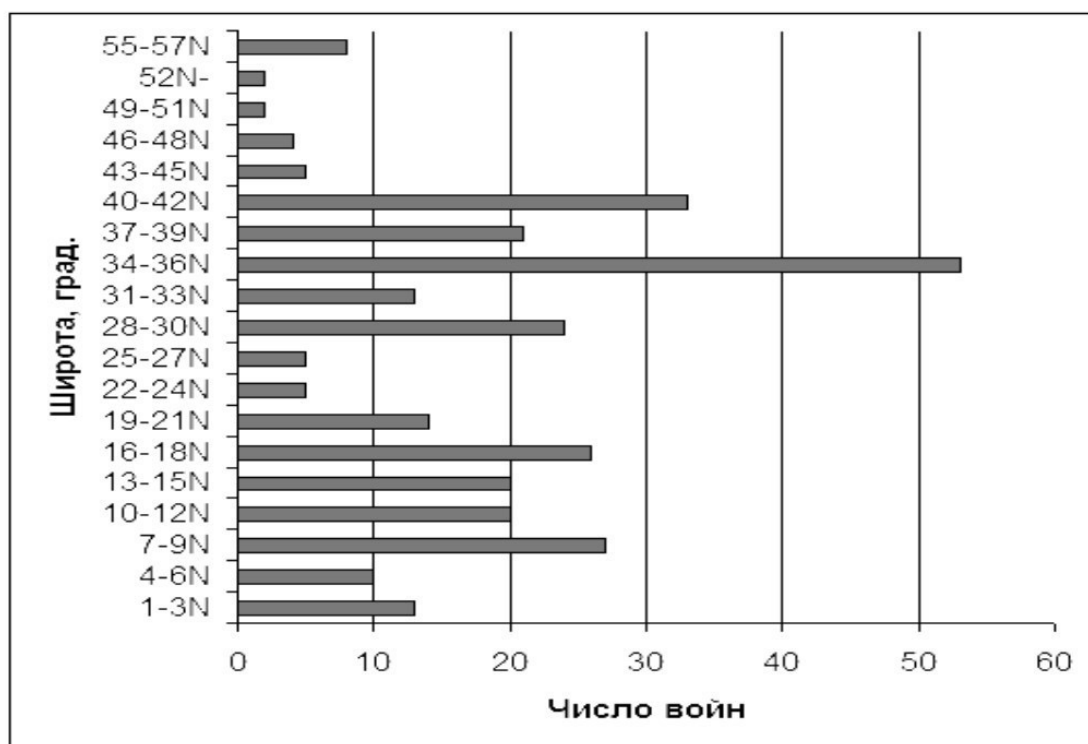


Рис. 9.

Зависимость частоты войн от географической широты³ в Северном полушарии (период 1946–2011 гг., осреднение по 305 событиям)

Источник: расчет по данным The Integrated Network for Societal Conflict Research, The Center for Systemic Peace.

³ Широта столиц воюющих государств, где принимаются внешнеполитические решения.

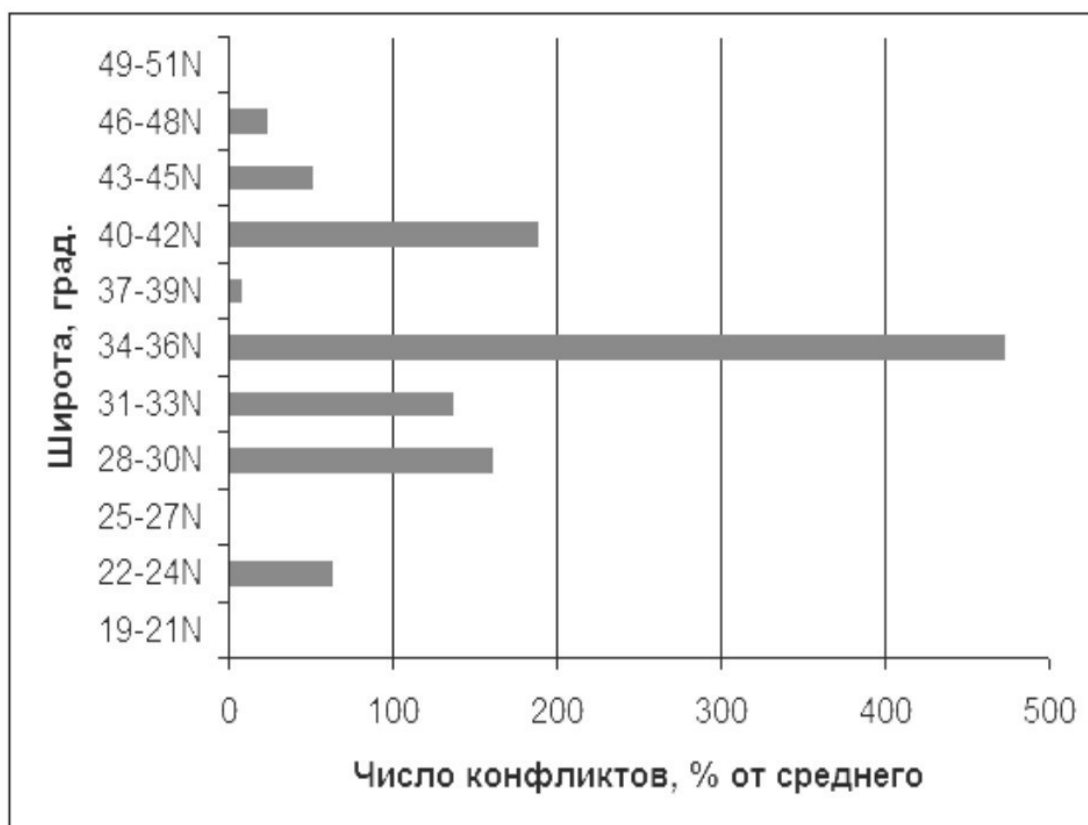


Рис. 10.

Географическое распространение межэтнических вооруженных конфликтов в Северном полушарии (период 1955–2011 гг., осреднение по 282 событиям)

Источник: расчет по данным The Integrated Network for Societal Conflict Research, The Center for Systemic Peace с дополнениями автора.

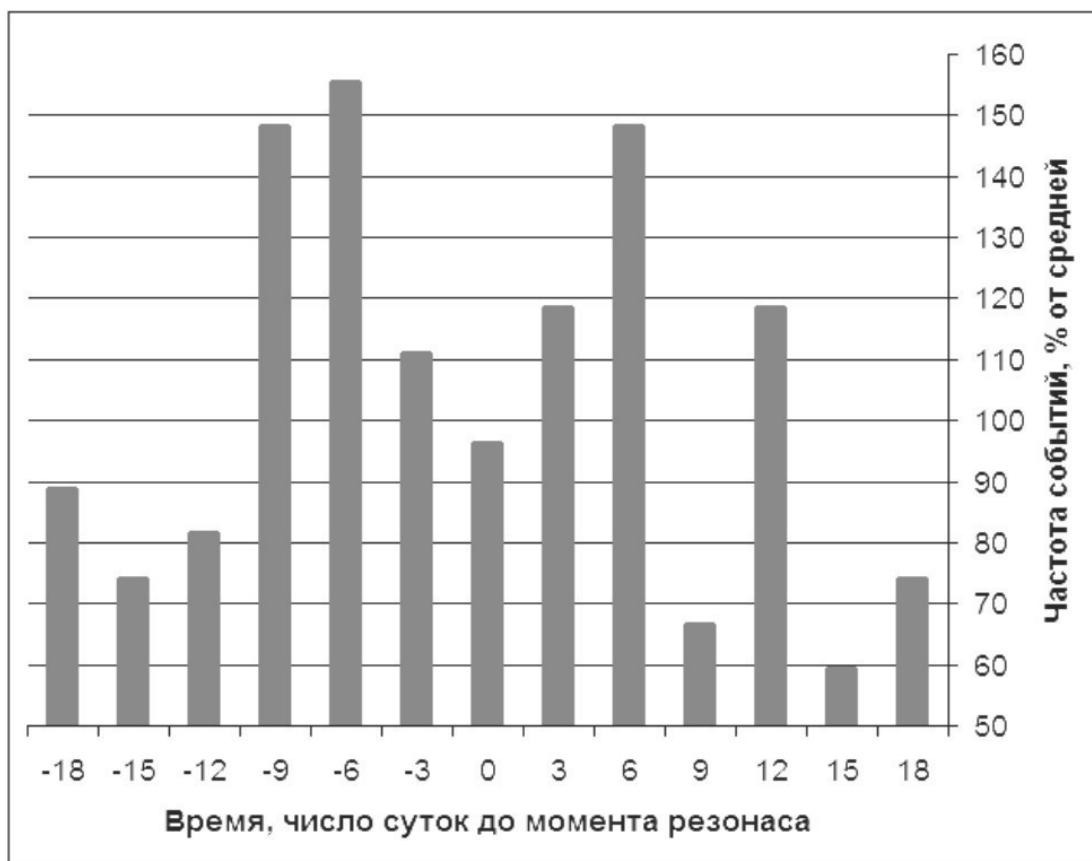


Рис. 11.

Зависимость частоты экстремальных протонных событий от резонанса Меркурия и Венеры 1 : 2 по полуосям орбит (1976–2012 гг., осреднение по 246 событиям)

Источник: расчет по данным Space Weather Prediction Center с использованием программы Alcyone Ephemeris 3.



Рис. 12.

Частота террористических актов в Испании в периоды до и после резонанса Меркурия и Венеры 1 : 2 по полусям орбит (1970–2007 гг., осреднение по 1113 случаев)

Источник: расчет по данным Global Terrorism Database с использованием программы Alcyone Ephemeris 3.

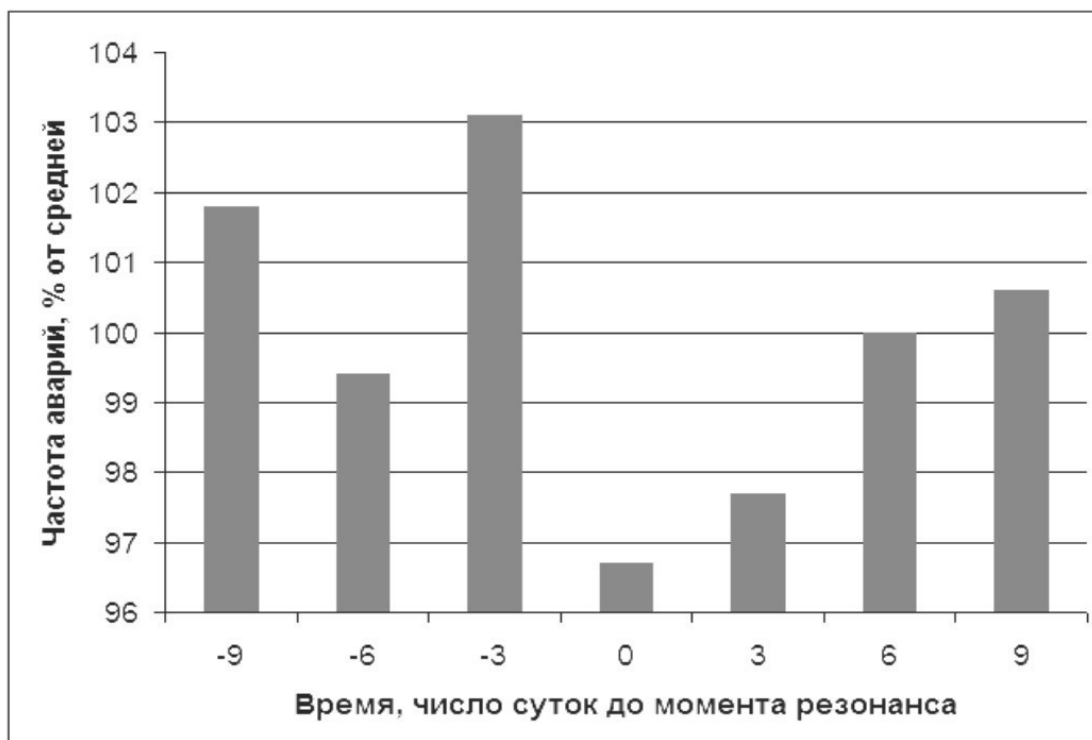


Рис. 13.

Частота автомобильных аварий в Австралии в периоды до и после резонанса Меркурия и Венеры 1 : 2 по полусям орбит (1989–2012 гг., осреднение с шагом в три дня по 20 257 случаям)

Источник: расчет по данным Australian Road Fatality Statistics с использованием программы Alcyone Ephemeris 3.

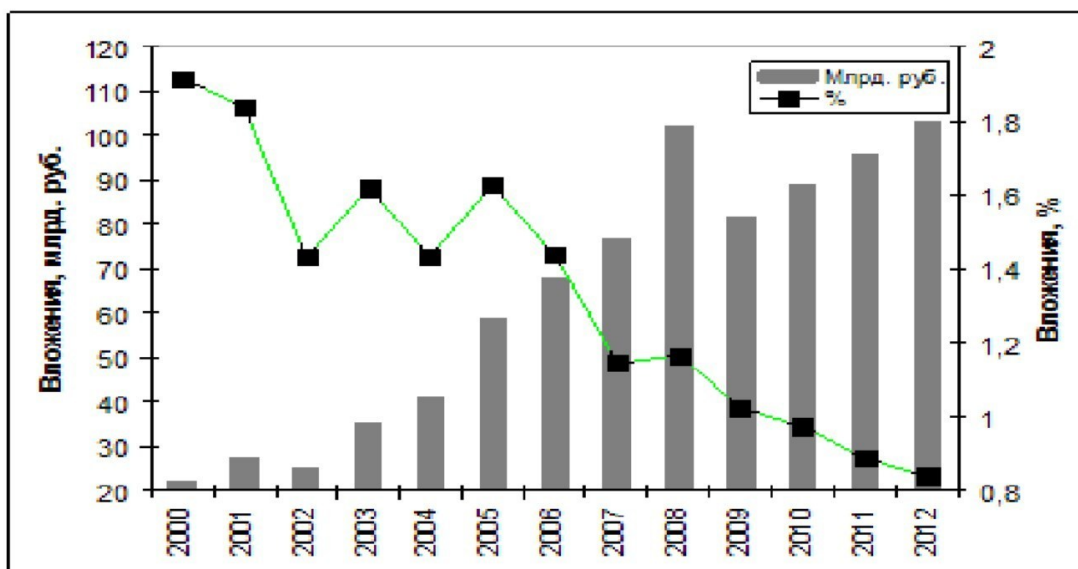


Рис. 14.

Динамика инвестиций в природоохранные мероприятия в Российской Федерации в абсолютном исчислении и в процентах от общего объема капиталовложений

Источник: расчет по данным Росстата.

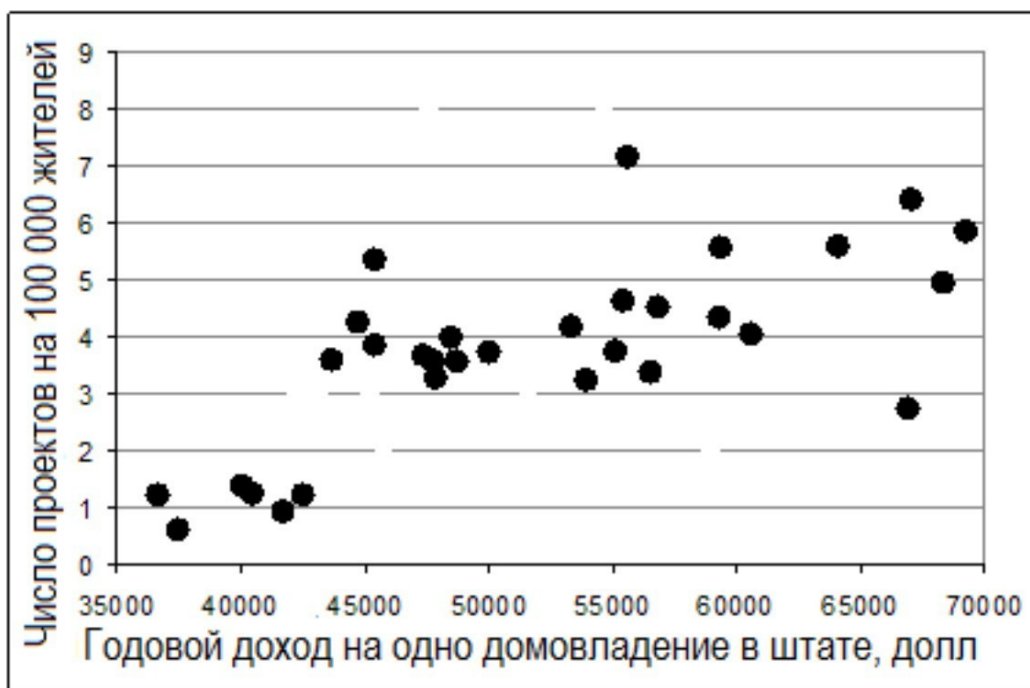


Рис. 15.

Распространение «зеленого» стандарта LEED в США в зависимости от медианного дохода населения (2011 г.)

Источник: расчет по данным US Green Building Council и U.S. Census Bureau.

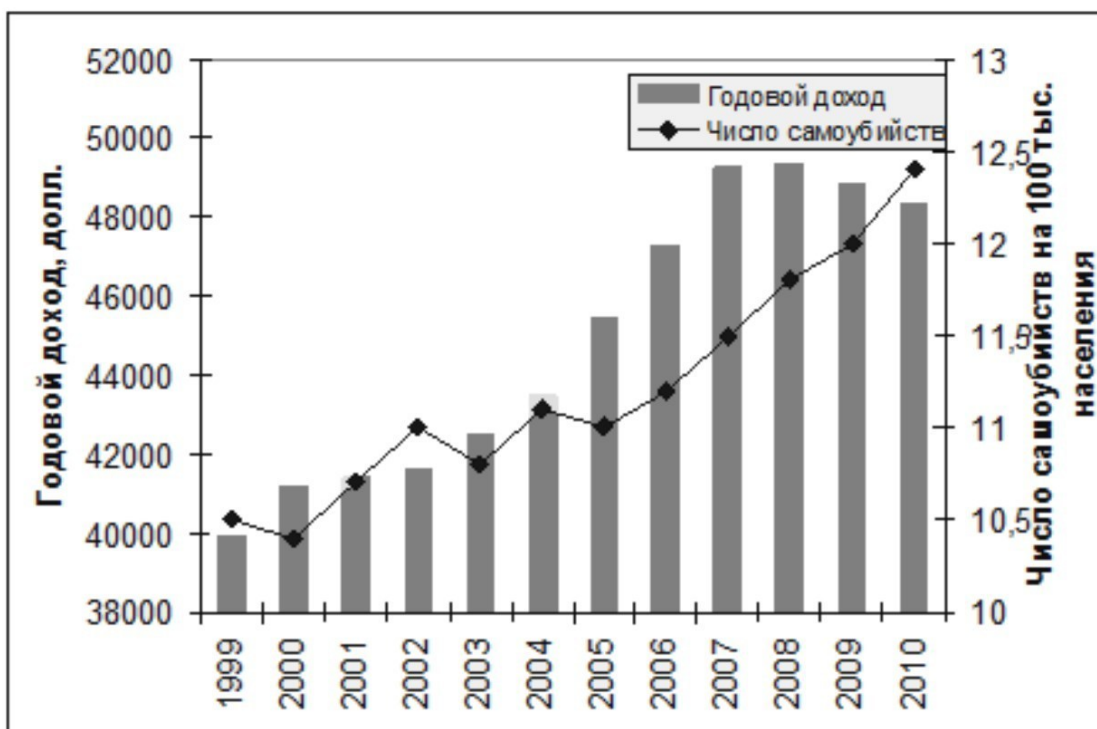


Рис. 16.

Годовые доходы и суицид в США

Источник: по данным American Foundation for Suicide Prevention и U.S. Census Bureau.

Космология судного дня

А.В. Юров

1. Введение

Космология считается одновременно самой романтической и в то же время самой непрактичной из всех наук. Космолог не занимается разработкой новых типов полупроводников, использование которых может привести к новому рывку в области высоких технологий, он не развивает методы интегрирования уравнений газодинамики, что важно для построения новых ракетных двигателей или уточнения метеорологических прогнозов. Космолог не разрабатывает ионные ловушки, алгоритмы квантовых вычислений. Не занимается проблемой термоядерного синтеза и поиском альтернативных источников энергии. Словом, космолог изучает настолько фундаментальные вопросы, что об их практическом применении говорить вообще не приходится.

Даже деятельность астрономов, людей традиционно далеких от «повседневных проблем», и та выглядит более «земной». В самом деле, именно астрономы наблюдают за движением искусственных спутников Земли, проводящих важные геофизические наблюдения из космоса и обеспечивающих возможность дальней связи. Астрономы должны предупредить нас о возможности падения на Землю крупного астероида, способного нанести существенный ущерб (вплоть до полного уничтожения) человеческой цивилизации. Маловероятность этого события не отменяет необходимости «постоянной службы неба». Наконец, изучение новых и сверхновых звезд совместно с наблюдениями за поверхностью Солнца (с одновременной разработкой математических моделей, описывающих многообразие процессов, происходящих под поверхностью Солнца) призвано привести нас в состояние «боевой готовности» при первых проявлениях того, что Солнце готовится стать новой⁴.

В отличие от астрономов, космологи исследуют вселенную на максимально больших расстояниях. Их интересует то, что происходило 15 млрд лет назад и что произойдет через, по крайней мере, такой же промежуток времени. Их не интересует что-то меньшее, чем 200 Мпс. Изучая раннюю вселенную, космологи поняли, что им необходима физика очень больших энергий ($10^{17} - 10^{19}$ ГэВ), которые, вероятно, никогда не будут доступны в лаборатории. Интересно отметить, что последний аргумент в пользу кажущейся «непрактичности» космологии ряд авторов пытаются обратить в свою противоположность. Дело в том, что область столь высоких энергий представляет особый интерес для специалистов по теории струн. Уже давно было очевидно, что построить теорию ранней Вселенной можно, только используя физику элементарных частиц, однако принципиальным моментом, изменившим статус космологии, стало осознание того, что верно и обратное! А именно построить удовлетворительную теорию элементарных частиц, можно лишь используя космологию. Считается, что описание элементарных частиц возможно в рамках теории струн, но большая часть новых явлений, предсказываемых теорией струн (или ее низкоэнергетическими приближениями), происходит при энергетических масштабах, заведомо недоступных современному экспериментатору. С другой стороны, энергии порядка 10^{19} ГэВ имели место в ранней вселенной, примерно 15 млрд лет назад, причем формирование современной крупномасштабной структуры вселенной сильно зависит

⁴ Не ясно, однако, что бы мы стали делать, если бы астрономы предупредили, что Солнце собирается не сегодня-завтра – взорваться! Правда, те же астрономы утверждают, что мы можем спать спокойно, по крайней мере, ближайшие несколько миллиардов лет. Так что деятельность астрономов достаточно практична – они обеспечивают нам спокойный сон.

от деталей процессов, протекавших в первые доли секунды после Большого взрыва, которые, в свою очередь, определяются теорией струн. Таким образом, астрономические наблюдения (особенно за реликтовым фоном) оказываются единственным известным на сегодня способом экспериментального тестирования, пригодным для специалистов, работающих в теории струн. Тем не менее исследования в области теории струн сами по себе весьма далеки от практических применений, и неизвестно, изменится ли когда-нибудь это положение вещей.

Все вышесказанное свидетельствует о кажущейся «непрактичности» космологии как физической дисциплины. Цель данной работы – опровержение этого утверждения. Мы попытаемся показать, что справедливо прямо обратное суждение: космология является самой практической из всех наук, поскольку, как мы увидим, приводит к выводам, весьма актуальным не только для космологов, но и для всех людей, в том числе далеких от науки. Мы покажем, что если так называемая стандартная космологическая модель (СКМ), о которой иногда говорят как о «космологическом коркодансе», верна, то человеческой цивилизации осталось существовать гораздо меньше, чем это принято думать! Насколько меньше? Речь идет не о миллионах или тысячах лет, а о столетиях или даже, при наиболее экзотичном варианте, десятилетиях! Вероятно, читатель подумает, что авторы занимаются мистификацией. Каким образом изучение вселенной как целого может привести к таким выводам? Поразительно, но может. Именно этой теме посвящена данная работа. Отметим, что предсказания о грядущем «конце света», сделанные на основе чисто статистических аргументов, давно и оживленно обсуждаются в литературе. Появился специальный термин: Аргумент Судного дня (в подлиннике Doomsday argument [Carter, 1983; Leslie, 1990; Gott, 1993; Nielsen, 1989]). Аргумент Doomsday не использовал космологических соображений и подвергался обширной критике. Наиболее ясно эта позиция изложена в статье Олума [Olum, 2002]. Мы, однако, покажем, что критика Олума несправедлива, если принять во внимание СКМ. Более точно, используя аргументацию Олума в рамках «космологического коркоданса», мы неизбежно приходим к справедливости Аргумента Doomsday. Другими словами, Кен Олум доказал справедливость Аргумента Судного дня, хотя и написал свою работу с целью опровержения последнего!

Работа организована следующим образом: во втором разделе мы обсуждаем Аргумент Судного дня и решение, предложенное Олумом для устранения последнего. В третьем разделе мы показываем, что правило подсчета частот в мультиверсе отличается от того, которое использовалось в [Olum, 2002] для решения парадокса Doomsday и, напротив, приводит к справедливости Аргумента Судного дня. В четвертом разделе, используя данные математической демографии и методы, развитые выше, мы оцениваем время наступления «конца света». Даже грубые вычисления свидетельствуют о том, что «конец света» должен наступить в течение ближайших десятилетий. Трудно счесть такое заключение чем-то непрактичным, не так ли?

2. Аргумент Doomsday

В своей классической постановке Аргумент Doomsday выглядит следующим образом: пусть p_S и p_L – вероятности того, что человеческая цивилизация (раса) будет существовать соответственно «недолго» и «долго». Срок существования – не определяется. Все, что нам надо знать, – это то, что в первом случае человечество исчезнет, набрав в «общей сумме» N_S когда-либо живших людей, а во втором – N_L , причем $N_L \gg N_S$. Разумеется, эта картина может показаться чрезвычайно упрощенной. Наверное, возможно множество вариантов развития человечества, и нелепо все сводить к двум возможностям. Тем не менее в качестве некоей усредненной картины ее использовать можно. Современный уровень знаний не позволяет вычислить числа p_S и $p_L = 1 - p_S$, но этого и не требуется. Более того, можно даже принять оптимистичный взгляд на вещи и считать, что величина p_L по крайней мере не меньше величины p_S . Это не

изменит конечного результата. Нас будет интересовать условная вероятность $p(S|N)$, которая равна вероятности того, что «я» живу в короткоживущей цивилизации, при условии, что я N -й рожденный человек. Конечно, определить величину N – затруднительно, поскольку непонятно кого считать первым человеком. Но в принципе ясно, что какое бы соглашение относительно первого человека ни было принято, в рамках его число N будет определено.

$$p(S|N) = \frac{p_S p(N|S)}{p_S p(N|S) + p_L p(N|L)} = \frac{p_S}{p_S + p_L N_S / N_L} \sim 1 - \frac{p_L N_S}{p_S N_L} \sim 1 \quad (1)$$

Пусть $p(N|S)$ и $p(N|L)$ условные вероятности того, что я N -й рожденный человек в, соответственно, короткоживущей и долгоживущей расах. Очевидно $p(N|S)/p(N|L) = N_L/N_S$. Используя формулу Байеса, находим результат, так как $N_S/N_L \ll 1$. Таким образом, условная вероятность найти себя в короткоживущей расе неожиданно оказывается порядка единицы! Это и есть знаменитый Аргумент Doomsday.

А. Аргумент Doomsday содержит внутреннее противоречие. Представим себе, что несколько десятков тысяч лет назад численность народонаселения составляла в общей сумме (вместе с умершими) 1000 человек. Предположим, что эти люди – фаталисты, уверенные, что грядет конец света, и оценивают общее число всех людей своей расы, вплоть до этого конца в 10^6 . Как мы знаем, сейчас число всех когда-либо живших людей составляет около 60 млрд человек⁵. Примем, что $p_S = p_L = 0,5$. Тогда формула (1) дает

$$p(S|N) \sim 1 - \frac{1}{6} 10^{-4} = 0,9999833 \quad (2)$$

Другими словами, фактически со 100%-ной гарантией эти люди должны были оказаться правы в своих апокалиптических ожиданиях. Вероятность же текущего положения дел (на начало XXI в.) составила бы лишь 0,000017. Тем не менее, как мы знаем, именно это практически невероятное состояние человечества имеет место. Таким образом, древние люди совершили бы огромную ошибку, полагаясь на формулу (1). Но тогда почему мы должны доверять этой формуле?

В. Аргумент Doomsday дает заведомо неправильный ответ. Здравый смысл подсказывает, что вероятность $p(S|N)$ должна быть равна просто p_S . Очевидно, где-то имеется ошибка в вычислениях.

Кен Олум утверждает, что знает где. Вот его рассуждения: для нахождения условной вероятности $p(S|N)$ мы перемножили два числа (опуская нормировочный множитель):

$$p(S|N) \sim p_S p(N|S), \quad (3)$$

тогда как правильное выражение имеет вид

$$p(S|N) \sim p_S p(N|S) N_S. \quad (4)$$

Вводя в (4) нормировочный множитель, имеем

⁵ В пятом разделе мы поясним, откуда берется это число.

$$p(S|N) = \frac{p_S p(N|S) N_S}{p_S p(N|S) N_S + p_L p(N|L) N_L} = \frac{p_S}{p_S + p_L \frac{p(N|L) N_L}{p(N|S) N_S}} = \frac{p_S}{p_S + p_L} = p_S \quad (5)$$

Ответ получается разумным, но почему нам следует использовать предписание (4), а не (3)? Согласно Олуму, для правильного вычисления $p(S|N)$ необходимо перемножить три вероятности: вероятность того, что мы находимся в короткоживущей цивилизации ($p(S)$), условную вероятность того, что я N -й человек ($p(N|S)$), и $p(N_S|I)$ – условную вероятность того, что я нахожусь в короткоживущей цивилизации, при условии, что «я есть». Последнее выглядит странно и нуждается в пояснении. Суть дела в том, что сам факт моего существования служит аргументом в пользу того, что я нахожусь в долгоживущей цивилизации, насчитывающей большое число людей. Другими словами, вероятность $p(N_S|I)$ должна быть пропорциональна полному числу людей – N_S . Для того чтобы сделать этот вопрос максимально ясным, рассмотрим (вслед за Кен Олумом) следующую гипотетическую игровую ситуацию. Пусть некое высшее существо (Олум называет ее богиней) имеет в запасе отель, содержащий 10^9 одноместных номеров и такое же число людей (одним из которых являюсь я). Богиня бросает монету и в зависимости от того, что выпадает – «орел» или «решка», реализует следующую стратегию.

Стратегия 1.

1.1. Если выпадает «орел», то богиня случайным образом расселяет всех 10^9 человек по номерам.

1.2. Если выпадает «решка», то богиня случайным образом выбирает 10 человек и наугад расселяет их по первым 10 номерам.

Предположим, что я обнаружил, что нахожусь в одном из первых 10 номеров. С какой вероятностью у богини выпал «орел»? Или иначе, какова вероятность того, что отель полон людей? Эти вопросы имеют прямое отношение к Аргументу Doomsday. В самом деле, результат, полученный по формуле (1), можно объяснить и так: если человечество будет существовать очень долго и полное число всех людей (N_L) будет очень велико, то кажется весьма маловероятным найти себя в малой доле людей, живущих у истока цивилизации. Однако мы находим себя в нем, значит, полное число всех когда-либо живших людей, людей, живущих сейчас, и тех, кто будет жить после, не должно быть очень велико. Формула (1) просто дает количественное основание этой идеи. Аналогично в мысленном эксперименте Кен Олума кажется весьма маловероятным, что отель полон, коль скоро мы нашли себя уже в первой десятке номеров. Однако это интуитивно очевидное заключение оказывается неверным. Назовем группу людей, которых богиня будет расселять по номерам реферируемой группой. Теперь предположим, что монета упала «орлом». В этом случае с вероятностью единицы я окажусь в реферируемой группе. Вероятность же того, что богиня поместит меня в один из первых десяти номеров, составит 10^{-8} . Перемножая эти независимые вероятности, я получаю вероятность попасть в первые десять номеров при выпадении «орла», равной 10^{-8} . Если же монета упадет «решкой», то мои шансы попасть в реферируемую группу составят десять к миллиарду, зато вероятность того, что я окажусь в первой десятке номеров, равна, очевидно, 1. Перемножая эти числа, получаем ту же вероятность 10^{-8} , что и при выпадении монеты «орлом». Заметим, что вероятность моего попадания в реферируемую группу и есть величина $p(N_S|I)$ (или $p(N_S|I)$). Отношение этих вероятностей в первом и втором случаях составляет один к 10^{-8} , т.е. равно отношению числа членов в реферируемых группах: 10^9 к 10. Именно поэтому $p(N_S|I) \sim N_S$, а $p(N_L|I) \sim N_L$. Таким образом, вероятность моего попадания в номер, скажем, 7 не зависит от числа людей в

отеле и составляет, очевидно, 10^{-9} . В свою очередь это означает, что вероятности выпадения монеты «орлом» или «решкой» равны, а значит, вероятность того, что отель полон, равна $1/2$, т.е., возвращаясь к Аргументу Doomsday, $p(\text{SlN}) = p_{\text{S}}$. Таким образом, парадокс Судного дня кажется решенным. Но не все так просто!

3. Мультиверс и Doomsday

Свою известную работу [Tegmark, 2003] Макс Тегмарк начинает вопросом, обращенным к читателю: существуют ли другие копии Вас, читающие эти же строки, но принявшие решение оставить чтение, не дойдя до конца данного предложения, тогда как Вы все-таки дочитали его? Люди, живущие на планете, называемой Землей, с горами, среди которых есть Гималаи, с растущими городами (среди которых есть Лондон и Москва)? Люди, живущие в Солнечной системе, содержащей еще восемь планет? Жизнь этих людей совпадает с Вашей во всех отношениях, до того мгновения⁶, когда Вы приняли решение дочитать первое предложение до конца, решение, свидетельствующее, что Ваша жизнь и жизни этих «копий» стали различаться? Хотя эта картина выглядит странной и невозможной, тем не менее именно ее предсказывает простейшая и наиболее популярная сегодня космологическая модель, причем, согласно этой модели, вышеупомянутые персоны живут в галактике, находящейся приблизительно на расстоянии 10^{29} метров от нас. Собственно, для обоснования того, что дело обстоит именно так, достаточно принять два обстоятельства: (1) вселенная пространственно бесконечна и (2) она однородно заполнена веществом. Существование вашего alter ego является простым следствием (или предсказанием) так называемой модели конкорданс (concordance), которая находится в согласии со всеми известными астрономическими наблюдениями, расчетами и компьютерными симуляциями. Наибольшее расстояние, которое в принципе можно наблюдать, составляет примерно 14–15 млрд световых лет, поскольку столько лет назад произошел Большой взрыв, послуживший началом нашей вселенной. В сантиметрах это примерно 10^{28} , и сфера с таким радиусом, в центре которой находимся мы, определяет так называемую видимую вселенную, иначе называемую хаббловским объемом. Аналогично вселенная одного из Ваших вышеупомянутых двойников имеет такой же размер, с центром в другой точке и не имеет никакого физического контакта с нашей вселенной. Наша наблюдаемая вселенная оказывается лишь малой частью колоссальной структуры, называемой мультиверсом. Представление о мультиверсе может показаться метафизическим, однако становится все более и более ясным, что существование мультиверса, вытекающее из базовых, по-видимому, неопровержимых физических принципов, может быть эмпирически протестировано или фальсифицировано по Попперу⁷.

Вернемся к нашим удаленным двойникам. Если пространство бесконечно и распределение материи достаточно однородно на больших масштабах, то даже самые маловероятные события должны где-то происходить. Недавно Дон Пэйдж показал даже, что если полный четырехмерный объем вселенной превышает в степени 10^{50} см в четвертой степени, то начинают доминировать события с вероятностью, равной спонтанному возникновению наблюдателя-человека [Page, 2005]! На этом фоне уже не удивляет то, что в бесконечной вселенной есть бесконечно много других населенных планет, включая планеты, населенные людьми, обладающими той же внешностью, именем и памятью, что и Вы. Это проистекает из того, что существует множество других областей, того же размера, что и наш хаббловский объем, в кото-

⁶ Внимание! Это место центрально для понимания данной статьи.

⁷ В настоящее время вопрос ставится даже не о том, существует мультиверс или нет, а, скорее, о том, сколько уровней он допускает.

рых реализуются все возможные сценарии развития событий! Еще раз подчеркнем, что это является неизбежным следствием простейшей и наиболее общепризнанной современной космологической модели. Действительно, пока все известные наблюдения достаточно уверенно свидетельствуют о том, что мы живем в плоской вселенной, которая, как это следует из уравнений Эйнштейна, ДОЛЖНА быть бесконечной. Колоссальный успех инфляционной космологии служит веским основанием верить, что вселенная и в самом деле бесконечна и плоска, чему, кстати, нас и учили в школе!

Что касается однородности, то наблюдения показывают, что отклонения от средней величины массы, заключенной в сфере радиуса 10^{23} м, составляет менее 1%, а в сфере радиуса 10^{27} м отклонение не превышает 0,001%! Таким образом, современные наблюдения однозначно утверждают, что вселенная продолжается и за пределы нашего хаббловского объема, причем там она по-прежнему заполнена галактиками, звездами и планетами.

Есть несколько способов того, как получить отсюда вышеупомянутую «сюрреалистическую» картину вселенной, заполненной нашими двойниками. Первый способ основан на гипотезе эргодичности. Как известно, физическая задача определяется уравнениями динамики и начальными условиями. Согласно современным представлениям начальные условия в ранней вселенной, приведшие к наблюдаемой структуре космоса, были фиксированы квантовыми флуктуациями во время инфляции. Эти флуктуации порождают флуктуации в плотности, которые оказываются эргодически случайными полями. Эргодичность означает, что если вообразить ансамбль вселенных (точнее, хаббловских объемов) со случайно распределенными начальными условиями, то вероятностное распределение исходов в данном объеме совпадает с распределением, полученным случайным выбором объема из всех возможных. Другими словами, при наличии эргодичности все, что может в принципе произойти, на самом деле где-то происходит.

Более изящен второй способ, предложенный Виленкиным [Garriga, Vilenkin, 2005] и использующий так называемое ограничение Бекенштейна. Суть его сводится к следующему: количество квантовых состояний внутри некоторого объема не может превышать площадь этого объема, умноженную на некоторую постоянную. Строгий вывод ограничения Бекенштейна дается в рамках квантовой теории поля. Однако можно легко (но не строго!) пояснить, откуда берется это ограничение [Tipler, 2001].

Рассмотрим квантовую, одномерную (для простоты) систему. Неразличимые квантовые состояния лежат в ячейках, меньших, чем произведение неопределенности координаты на неопределенность импульса, поэтому общее число различных квантовых состояний получается делением всего фазового объема на размер такой ячейки. Так как, в соответствии с принципом неопределенности Гейзенберга, размер последней не может быть меньше постоянной Планка, размер полного числа квантовых состояний N не может быть больше фазового объема PR (где P – импульс, а R – координата), деленного на постоянную Планка. На следующем шаге надо вспомнить, что в релятивистской теории импульс P всегда меньше (либо равен – для безмассовых полей) энергии E , деленной на скорость света. Но энергия пропорциональна массе, а значит, число возможных состояний не больше некоторой константы, умноженной на размер исследуемого объема R и на его массу. Наконец, следует учесть, что масса объема при заданном R не может быть сколь угодно велика, ее максимально допустимое значение пропорционально R , поскольку при больших массах начнется гравитационный коллапс. Окончательно получаем, что число допустимых, физически различимых квантовых состояний меньше, чем

$$N < \frac{c^4 R^2}{3\hbar G} \quad (6)$$

Ограничение Бекенштейна позволяет понять, откуда берутся «двойники». В силу этого ограничения число начальных условий N_h , приводящих к разным динамическим конфигурациям в заданном хаббловском объеме, – конечно. В [Garriga, Vilenkin, 2001] приведена оценка: $N_h \sim e$ в степени 10^{244} ! Это, безусловно, колоссальное, но КОНЕЧНОЕ число. Таким образом, число всех возможных «историй» внутри данного хаббловского объема – конечно, тогда как число всех хаббловских объемов в бесконечной (ибо плоской) вселенной – бесконечно. Это означает, что если начать перебирать хаббловские объемы один за другим, то рано или поздно мы переберем все объемы с разными историями, после чего начнутся повторения. Другими словами, все возможные истории, все, что могло произойти в нашем мире, но почему-то не произошло, – где-то происходит. Кроме того, существует бесконечно много одинаковых миров, буквально совпадающих с нашим, а также миров, лишь чуть-чуть отличающихся от нашего, и т.д. Грубые оценки показывают, что ближайшие к вам ваши же двойники находятся на расстоянии примерно 10^{29} м от вас. На расстоянии 10^{91} м располагается сфера радиусом 100 световых лет, такая, что для всех ее обитателей в течение 100 ближайших лет все произойдет в точности как у нас вплоть до 2100 г. Наконец, на расстоянии 10^{113} м должен располагаться ближайший хаббловский объем, полностью идентичный нашему.

Как мы видим, все эти объемы лежат за пределами нашего горизонта событий, поэтому, согласно СТО, невозможна причинная связь с нашими «двойниками». Тем не менее наличие мультиверса тестируемо [Stoeger, 2007; Weinberg, 2005; Aguirre, 2005]. Примером такого теста является проблема космологической константы, решенная в [Vilenkin, 2001]. Как мы сейчас покажем, существует другая, поразительная возможность проверить гипотезу мультиверса, используя Аргумент Doomsday! Одним из интересных следствий описанной картины является то, что если существует множество «вас» с одинаковой памятью и прошлой жизнью, но с разным будущим, то вы в принципе не способны вычислить ваше будущее даже при условии, что вся полная история космоса вам известна! Происходит это потому, что нет никакого способа определить, какая из этих «копий» действительно «вы». Лучшее, что можно сделать, – это вычислить вероятность того или иного события, используя базовое предположение о том, что вы – типичный наблюдатель. Такая методика широко практикуется в современной космологии и лежит в основе вычислений с использованием так называемого антропного принципа⁸. Рассмотрим теперь наблюдателя, скажем меня, который остановился между двумя дверями 1 и 2 и принимает решение, в какую из них зайти. Если я выберу дверь 1, то можно не сомневаться, что за пределами расстояния 10^{29} м (но не дальше чем 10^{91} м) находится хаббловский объем, содержащий моего двойника, выбравшего дверь 2. Получается забавная картина: выбор той или иной двери эквивалентен «выбору» того или иного хаббловского объема. Разумеется, на самом деле я нахожусь лишь в одном объеме, но поскольку не знаю в каком, то две картины: (1) я живу в одном хаббловском объеме и (2) я умею «переходить» (правда, спонтанно и неуправляемо) из одного объема в другой – эквивалентны. На самом деле это простое следствие того, что различия между хаббловскими объемами порождены различиями в начальных условиях, в частности флуктуациями в ранней вселенной, которые, как уже говорилось, обладают свойством эргодичности. Повторим, что вследствие эргодичности вероятност-

⁸ Именно используя этот принцип, удалось решить упомянутую проблему космологической постоянной в [8].

ное распределение исходов в данном хаббловском объеме совпадает с распределением, полученным случайным выбором объема из всех возможных. Применительно ко мне это означает, что я могу, если хочется, считать себя «случайно блуждающим странником по хаббловским объемам». Вспомним пример Тегмарка, с которого мы начали этот раздел: некоторые из вас бросили сейчас читать эту работы, придя к заключению, что все это просто чепуха, не заслуживающая внимания. Однако должны существовать хаббловские объемы, в которых Вы не поддались этому порыву и решили дочитать до конца (автор надеется, что находится в одном из таких хаббловских объемов). Теперь рассмотрим ситуацию за долю секунды до того, как решение было принято. После принятия решения Ваша жизнь и жизнь двойника стали различаться. Вы могли принять решение не читать, но могли принять решение и дочитать. Приняв то или иное решение, Вы определили, в каком именно хаббловском объеме находитесь. Но не будет логической ошибки сказать, что, приняв то или иное решение, Вы «перешли» в тот или иной объем! Например, Вы не стали читать и, разумеется, остались в том объеме, где и были. Но Ваш более отзывчивый двойник теперь находится на расстоянии 10 в степени 10^{29} м от Вас. Можно, конечно, сказать, что он всегда там был, но, с другой стороны, до того, как решение было принято, Вы оба были одним и тем же лицом! Не существовало способа отличить Вас друг от друга, значит, Вы были не просто двойниками! Вы были ОДНИМ И ТЕМ ЖЕ ЧЕЛОВЕКОМ. А раз так, то ситуация выбора может быть непротиворечиво описана следующим образом: сделав выбор, я нахожу себя в другом хаббловском объеме, не в том, в котором находился ДО выбора. Все физические процессы, которые я наблюдаю вокруг, будут выглядеть одинаково вне зависимости от того, странствую ли я при каждом выборе по хаббловским объемам или нахожусь в одном из них. Вероятно, это утверждение покажется тривиальным одним и неверным другим. Для этих вторых мы приведем дополнительные аргументы в пользу того, что мы можем считаться «случайно блуждающими странниками по хаббловским объемам», несмотря на то что находимся лишь в одном из них, в следующем разделе.

Но, скажет критик, даже если это верно, то поскольку два способа описания моей эволюции в мультиверсе (т.е. я странствую или все время нахожусь в одном объеме) физически неразличимы, то в чем разница? Разница в том, что теперь Аргумент Doomsday оказывается верным!

Для того чтобы понять это, рассмотрим второй сценарий игры, тоже описанный Кен Олумом.

Стратегия 2.

2.1. Если выпадает «орел», то богиня случайным образом расселяет всех 10^9 человек (и меня, разумеется) по номерам.

2.2. Если выпадает «решка», то богиня обязательно выбирает меня и еще девять человек (а их – случайным образом) и наугад расселяет их по первым 10 номерам.

Отличие стратегии 2 от стратегии 1 в том, что я со 100%-ной гарантией являюсь членом реферируемой группы вне зависимости от того, как упадет монета. Первую стратегию Олум назвал симметричной, а вторую – асимметричной (я оказываюсь выделенным). Проанализируем асимметричную игру на тех же условиях: я обнаруживаю себя в номере 7. Пусть монета упала «орлом». Так как я знаю, что я непременно член реферируемой группы, то вероятность моего попадания в первую десятку номеров составит 10^{-8} . Если же монета упала «решкой», то я с вероятностью 1 попадаю в первую десятку. Другими словами, вероятность моего попадания в седьмой номер в случае полного отеля составляет один к миллиарду, а в случае «почти пустого» – один к десяти. Обнаружив себя в седьмом номере, я могу быть уверен, что в отеле вместе со мной проживают только 10 человек. Другими словами, в этом случае работает предписание (3), а не (4), а значит, формула (1) оказывается верной. Причина этого очевидна – если

я в любом случае попадаю в реферируемую группу, то условные вероятности p (NII) равны единице.

Осталось понять, что наша жизнь в мультиверсе сходна со стратегией 2, а не стратегией 1. Это почти очевидно: во-первых, мы должны исключить из рассмотрения хаббловские объемы где нас нет, по той причине, что я непременно существую в других объемах и осознаю себя в них прямо сейчас. Во-вторых, коль скоро при каждом выборе я могу считать себя попадающим в соответствующий хаббловский объем, то ситуация ничем не отличается от ситуации, где мое местонахождение определяется монетой богини. В обоих случаях ситуация случайна и находится вне моего контроля. Я не знаю, в каком хаббловском объеме окажусь в следующий момент (или, если угодно, не знаю, что произойдет в моем объеме в следующий момент), но точно знаю, что в одном из них окажусь обязательно. В этом смысле я могу считать себя выделенным. А это означает, что в мультиверсе Аргумент Doomsday – действует!

В силу необычности и важности этого заключения повторим его еще раз, но применительно к Аргументу Судного дня. Я знаю, что я N-й человек. Также я знаю, что это сейчас осознает множество моих двойников, обладающих той же памятью и видящих то же, что и я. Я не знаю, который из этих двойников «я». Часть из них живет в долгоживущей цивилизации, находясь у самого ее истока. Вторая часть живет в короткоживущей цивилизации и не занимает особого положения. Я могу оказаться любым из них, ибо они реально существуют. На что мне надо поставить: на то, что я оказался одним из избранных, стоящих у самого начала будущей «космической империи», или на то, что я живу в заурядной цивилизации, число людей в которой никогда не увеличится на порядки? Очевидно, что при таком раскладе несравненно более вероятен второй вариант.

Нам осталось ответить на приводимое выше первое возражение против Аргумента Doomsday, утверждающего его противоречивый характер: почему древние люди пришли бы к абсолютно неправильному заключению о будущем (2)? Напомним: древние люди, о которых речь шла во втором разделе, с вероятностью 0,999 983 должны были столкнуться с Судным днем до начала XXI в. Тем не менее они дожили до наших дней, породив нас, хотя вероятность этого была лишь 0,000 017. Как же так? Очень просто: в Мультиверсе существовало множество копий этих людей, сделавших это предсказание. Из них 99,9983% действительно имели несчастье исчезнуть в результате Судного дня и лишь 0,0017% уцелели. И это естественно, ибо Аргумент Doomsday носит статистический характер. Кому-то ДОЛЖНО было повезти, поскольку в Мультиверсе происходит все, что возможно (см. сноску 5). И поскольку я являюсь потомком этих людей, для меня вероятность существования этой крохотной доли счастливицков, выигравших в лотерею жизни и смерти, равна 100%. Ситуация здесь та же самая, что и с «удачливым сперматозоидом»: допустим, что появление данной персоны зависит от того, оплодотворит ли ДАННЫЙ сперматозоид (один из 10 млрд) яйцеклетку. Очевидно, шансы появления чрезвычайно малы и составляют 10^{-10} , т.е. при обычном раскладе ими можно пренебречь, если только ВЫ не эта персона. С ее же точки зрения это событие должно было непременно случиться (т.е. с вероятностью единица), иначе бы она вообще не думала на эту тему! Конечно, указанная персона могла бы сказать, что ее могло и не быть, и прийти к тому же заключению, что и сторонний наблюдатель. Однако это неверно в Мультиверсе, в котором происходят все события, разрешенные законами физики. В Мультиверсе обязательно найдется хаббловский объем, в котором именно этот сперматозоид оплодотворит яйцеклетку, а значит, появление этой персоны неизбежно. Далее, очевидно, что только появившись на свет (и, вероятно, окончив университет), персона будет способна задаться вопросом о вероятностном распределении, приведшем к ее существованию. Отсюда действительно, как ни странно, следует, что с точки зрения данной персоны вероятность ее появления равна 100%! Это не ошибка, не суждение задним числом и не обман. Именно это обстоятельство позволяет обосновать использование

асимметричной стратегии каждым отдельным наблюдателем, применение которой неизбежно приводит к справедливости Аргумента Doomsday.

4. Когда наступит конец света?

Для того чтобы использовать (1), нужны какие-то оценки для условных вероятностей и общего числа всех людей. «Проще» всего с величиной N_S . Мы примем ее равной общему числу всех людей, когда-либо живших (и живущих сейчас) на Земле. Следует сказать, что даже эта величина нам неизвестна. Разброс составляет от 40 до 100 млрд! Например, Форстер [Foerster, 1961] использует эмпирическую формулу

$$N(t) = \frac{C \times 10^9}{T - t} \quad (7)$$

где $N(t)$ – общее число людей, живущих в момент времени t , которое, в свою очередь, отсчитывается от Рождества Христова. При этом $C = 179$, а $T = 2027$. В свою очередь, Хорнер [Hoerner, 1975] предлагает другие величины для параметров, входящих в (7): $C = 200$, $T = 2025$. Обе оценки очень неплохо согласовывались с общими демографическими данными, полученными разными способами, однако после 2000 г. появляются расхождения. Например, по Форстеру $N(2002) \sim 7,2 \times 10^9$ человек, а по Хорнеру $N(2002) \sim 8,7 \times 10^9$. Вместе с тем, по официальным данным, количество народонаселения на Земле в 2002 г. только перевалило за 6 млрд и составило $N(2002) \sim 6,2 \times 10^9$ человек. Это означает необходимость модификации (7).

Однако мы можем использовать (7) для вычисления среднего числа когда-либо живших на Земле людей. Для этого необходимо проинтегрировать $N(t)$ от некоторого начального момента t_1 до, скажем, 2000 г. и разделить на среднюю продолжительность жизни τ . Оценки для τ варьируются от $\tau = 22$ года (в прошлом) до $\tau = 42$ года в наше время. Подчеркнем, что физический (или демографический) смысл величины τ таков: это среднее время смены поколений, и его можно лишь условно считать средним временем жизни. Реальное время жизни человека немного (а в развитых странах – намного) больше этого числа. Тем не менее в качестве первого приближения будем использовать эти оценки.

Полагая $\tau = 42$ года, $t_1 = -10^4$ лет и интегрируя (7), получаем $N_{\text{total}} = 26 \times 10^9$ человек для модели Форстера и $N_{\text{total}} = 29 \times 10^9$ для модели Хорнера. Выбор $\tau = 22$ года фактически удваивает эти величины. Если же выбрать $t_1 = 10^{-5}$ лет от Р.Х., то число когда-либо живших людей оценится в 35 млрд человек при $\tau = 42$ года или 70 млрд при $\tau = 22$. Оценка Хорнера дает несколько большее значение. Мы не будем анализировать эти, в общем, не тривиальные проблемы, а остановимся на оценке в 60 млрд человек: $N_S = 6 \times 10^7$.

Значительно сложнее обстоит дело с величиной N_L . Ситуация здесь следующая: очевидно (7) не работает при приближении к $t = T$, а значит, эта формула должна быть модифицирована. Приближение к особой точке приводит к так называемому демографическому переходу, феноменологическую теорию которого развивает Капица [Капица, 1996]. Отсылая заинтересованного читателя к этому обзору за подробностями, мы ограничимся выводами (не бесспорными, но это все, что у нас пока есть). Согласно Капице, точка демографического перехода отвечает 2007 г. После этого от двух до пяти десятилетий режим роста будет выходить на

стационарную кривую, отвечающую максимальной численности N_{∞} в 15 млрд человек, причем режим будет уже устойчивым и неизменным. Эту картину и примем для оценки N_L .

Прежде всего положим в (1) $p_S = p_L$ и запишем $N_L = N_S (1 + x)$. Величина x определяется из простого уравнения

$$x \times 60 \times 10^9 = \frac{N_{\infty} t}{\tau} \quad (8)$$

Смысл этого соотношения прост: в установившемся режиме с постоянным числом живущих людей N_{∞} общее количество живших за время t равно произведению N_{∞} на количество поколений, сменившихся за это время. Выражая x из (8) и подставляя в (1), получаем

$$p(\tau; t; N_{\infty}) = \frac{60 \times 10^9 \tau + N_{\infty} t}{120 \times 10^9 \tau + N_{\infty} t}, \quad (9)$$

где мы ввели обозначение $p(\tau; t; N_{\infty})$ вместо $p(S|N)$. Для величины τ сохраним значение в 42 года. Численные результаты выглядят следующим образом: при $N_{\infty} = 15 \times 10^9$ человек вероятность «конца света» $p(t) = p(42; t; 15 \times 10^9)$ составляет $p(20) = 0,52$, $p(100) = 0,62$, $p(200) = 0,69$, $p(1344) = 0,9$. Время измеряется в годах. Другими словами, шансы неблагоприятного развития событий в ближайшие 40–70 лет составляют 52%, а в ближайшие 1400 лет – 90% (мы учли, что стационарный режим наступит через 20–50 лет). Если принять $N_{\infty} = 50 \times 10^9$, то оценки изменятся: $p(20) = 0,58$, $p(100) = 0,74$, $p(200) = 0,83$, $p(403) = 0,9$. То есть при таком раскладе у нас мало шансов просуществовать еще 500 лет!

В приведенных оценках существенно использовалось предположение $p_S = p_L$.

Однако верно ли оно? И можем ли мы как-то оценить эти числа при нынешнем развитии науки об обществе? Поразительно, но оказывается, это можно сделать, опять-таки используя космологию!

В своей работе Кен Олум [Olum, 2004] показал, что непосредственное применение антропного принципа (АП) может приводить к некоторым загадочным последствиям. Суть предположений, лежащих в основе АП, заключается в следующем: мы являемся заурядными обитателями заурядного хаббловского объема. Другими словами, таких, как мы, в Мультиверсе – большинство. Именно поэтому мы находим себя в данной цивилизации, в данной галактике: коль скоро «таких, как мы» большинство, то и вероятнее всего найти себя именно в такой цивилизации, обитающей около такой звезды, как Солнце, вращающейся вокруг центра гигантской спиральной галактики. Например, почему мы не нашли себя на планете, обращающейся вокруг одной из звезд, одной из карликовых галактик? Ведь карликовых галактик больше, чем гигантских? Ответ таков: большая часть звезд сконцентрирована именно в гигантских галактиках, а значит, шансы найти себя на подходящей планете выше именно в такой галактике.

Другим интересным примером является упомянутый выше демографический переход. Почему мы нашли себя именно в это экстраординарное время? Оказывается, ответ примерно такой же, как и со звездами в карликовых галактиках. Дело в том, что хотя демографический переход происходит практически мгновенно, в масштабах развития человечества, но его переживает примерно 10% от всех живущих! Действительно, нынешняя численность населе-

ния составляет более 6 млрд, тогда как за несколько тысяч прошедших лет набирается около 60 млрд. Другими словами, такой плотности населения, как сейчас, еще никогда не было; никогда еще такое количество людей не жили на Земле одновременно, поэтому шансы найти себя именно сейчас весьма велики.

Но у всего есть и обратная сторона. Поскольку в Мультиверсе реализуется все, что может реализоваться, то наверняка существуют хаббловские объемы, в которых человечество заселило нашу Галактику, а может, и наблюдаемый космос. Может показаться, что таких областей будет очень мало, поскольку заселение космоса представляет утопически сложную задачу. Но это совсем не так! Как подробно описал Фрэнк Типлер [Tipler, 1994], используя технологии, **ЛИШЬ НЕМНОГО** превосходящие те, которыми мы сейчас обладаем, человечество может колонизировать галактику примерно за 600 тыс. лет! Для этого необходимо использовать саморазмножающиеся зонды фон Неймана, создание которых станет реальным благодаря прогрессу в нанотехнологии. Предварительные прикидки показывают, что такой зонд будет стоить около 4 млн долл., причем большая часть стоимости уйдет на создание антиводорода (его необходимо 3,6 миллиграмма, при наличии 1,6 кг жидкого водорода). Полезная нагрузка составит 100 г, а развиваемая скорость будет составлять 10% от скорости света. Такой зонд мог бы быть запущен прямо сейчас, если бы у нас были необходимые компьютерные технологии, компьютеры атомных размеров и молекулярные универсальные конструкторы (типа автомата фон Неймана, состоящего всего из 29 элементов!). Такие технологии, вероятно, будут доступны нам до 2030 г. и уж никак не позже 2050 г.

Вообще, трудности, которые обычно имеют в виду, когда говорят о межзвездных путешествиях, фактически исчезают, если мы не собираемся запускать в космос людей. Межзвездный зонд, использующий не экзотическое антивещество, а обычный солнечный парус (правда, необходимы линза Френеля с 1 млрд км в диаметре и лазер мощностью 250 мегаватт) будет стоить (вместе с линзой, состоящей из тонкой петли на орбите вокруг Солнца, и лазером) примерно 260 млрд долл., т.е. в пять раз дороже лунной программы Apollo и **В ДВА РАЗА ДЕШЕВЛЕ** суммы, которую американцы намереваются потратить на полет к Марсу! Зонд массой 100 г способен нести информацию до 10^{24} бит, т.е. эквивалентную населению города, если учесть, что для симуляции человеческого разума и его окружения достаточно 10^{24} бит. Кроме того, зонд в принципе может синтезировать оплодотворенные яйцеклетки любого вида, в том числе – человека (именно на реализацию таких возможностей в перспективе нацелен проект Геном Человека).

Все сказанное имеет одну цель: показать, что процесс колонизации людьми галактики может начаться уже в этом столетии и, вероятно, в первой его половине. Неясно, надо ли это делать (Типлер доказывает, что надо и даже – необходимо), но это возможно. Это уже не фантастика. Если стоимость материалов будет падать относительно доходов, как последние 150 лет, то зонд стоимостью 260 млрд долл. будет эквивалентен для людей будущего (живущих через 400 лет) зонду стоимостью 80 млн сегодня. Другими словами, запуск таких зондов будет вполне доступен даже частным лицам, обладающим соответствующими средствами. Что уж говорить о зондах, использующих антиводород и стоящих всего 4 млн (тут не требуется ни мегаваттного лазера, ни огромной линзы Френеля)!

Таким образом, возможность заселения Галактики – совершенно реальна и может начаться в ближайшие 50 лет. Поэтому не видно оснований, почему многие обитатели других хаббловских объемов это не сделали. В Галактике 10^{11} звезд. Предположим, следуя Олуму, что лишь 1% этих звезд имеет планеты, пригодные для колонизации. Тогда общее число людей, живущих в такой «Галактической империи», составит по крайней мере $n_L = 6 \times 10_{18}$ человек, т.е. в миллиард раз больше, чем нынешнее население Земли $n_S = 6 \times 10^9$ человек. Пусть лишь 10% всех цивилизаций становятся на такой путь развития. Даже в этом случае подавляющее

число людей в Мультиверсе должно жить в таких «Галактических империях», подобно тому, как большинство звезд находится в гигантских галактиках, несмотря на то что карликовых галактик – больше. Почему же мы не находимся в такой империи? Это и есть парадокс Кен Олума, который необходимо разрешить.

Очевидно, не все так просто с освоением галактик людьми, и это означает, что вероятность таких «Галактических империй» весьма мала. Легко понять, что эта вероятность не может превышать 10^{-8} , иначе мы бы уже были в одной из таких империй⁹. Другие возможности (например, заселение других галактик или построение Сферы Дайсона) приводят к еще более катастрофическим результатам. Таким образом, существуют какие-то причины, которые настолько серьезны, что с вероятностью 1 к миллиарду не позволяют человечеству заселить Галактику, а еще точнее, достичь численности $n_L = 6 \times 10^{18}$. Это неплохо увязывается с Аргументом Doomsday, который является темой данной работы (Кен Олум не использовал Аргумент Doomsday для объяснения своего парадокса, поскольку считал, что этот аргумент неверен. Но мы уже показали, что он ошибся). Для нас интересно, что, используя результат Олума, можно попробовать оценить вероятности p_S и p_L .

В простейшем случае можно рассуждать так: пусть в Мультиверсе имеется ν цивилизаций нашего типа, т.е. в которых сейчас проживает $n_S = 6 \times 10^9$ человек, и μ человеческих же цивилизаций, в которых сейчас проживает n_L человек, причем $n_L > n_S$. Мы должны с подавляющей вероятностью найти себя там, где находимся (антропный принцип), а это означает, что должно с «хорошим запасом» выполняться неравенство:

$$\frac{\nu}{\mu} = \frac{p_S}{p_L} > \frac{n_L}{n_S} \quad (10)$$

Что значит с хорошим запасом? Это означает, что левая часть неравенства (10) должна по крайней мере на порядок превосходить правую. Теперь допустим, что $n_L = 3 n_S$, что должно произойти в течение ближайших 30 лет. Используя (1), находим:

$$p(S|N) = \frac{1}{1 + \frac{n_S N_S}{10 n_L N_L}} = \frac{1}{1 + \frac{N_S}{30(N_S + 3n_S)}} = \frac{75}{77} = 0,974$$

где мы считали $N_S \sim 60 \times 10^9$ человек. Таким образом, при справедливости сделанных приближений вероятность Doomsday в течение ближайших 30 лет практически равна единице! Мы приняли отношение n_L к n_S за 3, потому что, согласно Капице, предельное значение численности народонаселения, к которому мы должны перейти, миновав демографический переход, составляет как раз 15 млрд (мы взяли 18, но это не меняет сути дела). Таким образом, космология предсказывает «конец света» в течение ближайших десятилетий! Подчеркнем, что для получения количественных (хотя и очень грубых) оценок нам понадобилось два свойства

⁹ Вероятно, некоторые читатели упрекнут автора в излишней привязанности к сюжетам типа «Звездных войн». Но читатель должен помнить, что в Мультиверсе реализуются ВСЕ возможности, а значит, где-то ДЕЙСТВИТЕЛЬНО есть «Галактические империи», если их существование разрешено законами физики.

Мультиверса: (i) то, что в нем вообще действует Аргумент Doomsday, т.е. верна формула (1), и (ii) то, что в Мультиверсе можно использовать антропный принцип, т.е. постулат о том, что мы вместе со своим окружением являемся типичными (т.е. наиболее распространенными) наблюдателями.

5. Заключение

Резюмируя, можно заключить, что концепция Мультиверса вместе с антропным принципом приводит к следующей картине: каждый человек с максимальной вероятностью находит себя вблизи максимального количества людей. При этом существенным является, если так можно сказать, «личностный характер» этого утверждения.

Аргумент Судного дня верен, но верен для каждого наблюдателя в отдельности. Другими словами, в космическом Мультиверсе каждый человек так же одинок, как и в Мультиверсе Эверетта. В каждый момент своего времени он должен считать себя выделенным¹⁰.

Из сказанного вытекает вполне практическое следствие: в Мультиверсе следует применять способ подсчета частот, отличный от способа, использованного Олумом в [Olum, 2002]. Этот способ, однако, показывает, что нас ждет (каждого в отдельности) Судный день и будет он весьма скоро. Приведенные численные оценки, конечно, не следует воспринимать слишком серьезно, однако даже эти весьма грубые прикидки показывают, что речь идет о десятках лет. Вряд ли более утонченный расчет, основанный, скажем, на решении стохастического уравнения, описывающего наши «случайные блуждания по хаббловским объемам», изменит эти результаты на порядки, так что будущее нас ждет непростое. Кто-нибудь еще хочет сказать, что космология не практичная наука?

Список литературы

- Капица С.П.* Общая теория роста человечества. – М.: Наука, 1999. – 136 с.
- Капица С.П.* Феноменологическая теория роста населения Земли // Успехи физических наук. – М., 1996. – Т. 166, № 1. – С. 63–79.
- Aguirre A.* On making predictions in a multiverse: conundrums, dangers, and coincidences. – 2005. – Mode of access: <http://arxiv.org/abs/astro-ph/0506519> (Дата обращения: 11.11.14.)
- Carter B.* The anthropic principle and its implications for biological evolution // Philosophical transactions of the Royal Society of London. – L., 1983. – Vol. 310, N 1512. – P. 347–363.
- Foerster H. von, Mora P.M., Amiot L. W.* Doomsday: Friday, 13 November, A.D. // Science. – L., 1960. – Vol. 132. – P. 1291–1295.
- Garriga J., Vilenkin A.* Many worlds in one // Physical review D. – Lancaster, 2001. – Vol. 64, N 4. – C. 043511.
- Gott J.R.* Implications of the copernican principle for our future prospects // Nature. – L., 1993. – Vol. 363. – P. 315–319.
- Hoerner S.J. von.* Population explosion and interstellar expansion // Journal of the British interplanetary society. – Wallasey, Cheshire, 1975. – Vol. 28. – P. 691–712.
- Leslie J.* Risking the world's end // Interchange. – Dordrecht, 1990. – Vol. 21, N 1. – P. 49–58.
- Leslie J.* The end of the world: the science and ethics of human extinction. – L.; N.Y.: Routledge, 1996. – vii, 310 p.

¹⁰ Некоторые наверняка предпочтут сказать – «избранным», но это будет логическая ошибка. Во-первых, «кем избранный»? Во-вторых, получается, что каждый «избран», что противоречит сути слова «избранный». Хотя это не более чем выбор термина. Авторам могут сказать, что также нелепо употреблять термин «выделенный».

Nielsen H.B. Random dynamics and relations between the number of fermion generations and the fine structure constants // *Acta Physica Polonica. B.* – Cracow, 1989. – Vol. 20. – P. 427–468

Olum K.D. Conflict between anthropic reasoning and observation // *Analysis.* – Oxford, 2004. – Vol. 64, N 1. – P. 1–8.

Olum K.D. The doomsday argument and the number of possible observers // *The Philosophical Quarterly.* – Oxford, 2002. – Vol. 52, N 207. – P. 164–184.

Page D.N. The lifetime of the universe. – 2005. – Mode of access: <http://arxiv.org/abs/hep-th/0510003> (Дата обращения: 11.11.14.)

Stoeger W.R. Retrodution, multiverse hypotheses and their testability: a talk given at the symposium «Multiverse and String Theory: Toward Ultimate Explanations in Cosmology», 19–21 March 2005, Stanford Univ. – (Архив автора.)

Tegmark M. Parallel universes // *Scientific American.* – N.Y., 2003. – May. – P. 41–51.

Tipler F.J. Genesis: how the universe begun according to standard model particle physics. – 2001. – Mode of access: <http://arxiv.org/abs/astro-ph/0111520> (Дата обращения: 11.11.14.)

Tipler F.J. The physics of immortality: modern cosmology, God, and the resurrection of the dead. – N.Y.: Doubleday, 1994. – xxi, 527 p.

Vilenkin A. Cosmological constant problems and their solutions: talks given at «The dark Universe» (Space Telescope Institute) and PASCOS-2001 in April 2001. – [S.l., 2001].

Weinberg S. Living in the multiverse: opening talk at the symposium «Expectations of a final theory» 2 September 2005, Trinity College, Cambridge. – (Архив автора.)

Связь двух пространств: географическое воображаемое людей и территория земли на географической карте

С.А. Гаврилова

Карта обладает двумя природами, у нее, как у Януса, два «лика». В одном заключено отражение пространства. Другой это пространство творит. Отсюда и двойственная картографическая каузальность. Карта как проекция детерминирована отраженным в ней пространством. Но карта также и детерминирует пространство, выделяет в нем существенное для нас и удаляет ненужное. Наконец, карта прямо или косвенно выступает как проект нашей картины мира и его преобразования.

Двойственность визуальных образов и их геополитического значения не так часто становится предметом обсуждения в российской академической науке, хотя их эвристичность и научную значимость трудно переоценить. Картографическая продукция, само определение карты, ее роль в социальных и геополитических процессах в разное время кардинально менялись, но карты всегда оставались частью визуальной культуры, чрезвычайно субъективными и неточными моделями действительности, отображающими преобладающее в данный момент представление о пространстве [Branch, 2014].

Основное отличие карты как визуального материала от фотографии или живописи – отображение на картах характеристик пространства, многие из которых не являются видимыми. Они требуют высокопрофессионального и крайне скрупулезного изучения, а их графическая репрезентация – вдобавок еще и адекватного визуального решения. В разнообразных цивилизациях и культурных традициях картография и картографическая продукция приобретали самобытные социальные функции и значение. В данной статье мы рассматриваем исключительно европейскую картографию и «западный» путь развития представлений о пространстве и его репрезентации.

Карта – уникальный культурный продукт. Она наследует признаки объектов визуального искусства, с одной стороны, а с другой – является формой репрезентации научных представлений о мире, который развивается по собственным законам. Соответственно, карта обладает силой визуальной продукции, которая в разы превосходит, например, словестное описание, вызывая у пользователя заранее повышенный уровень доверия, так как институционально карта – производная научного знания. Более того, карта ассимилирует в себе признаки текста и визуальной продукции – без последней карта представляет собой просто текстовый набор мест, и без языка условных обозначений она также теряет смысл [Kramptom, Krygier 2014].

Что мы считаем картой?

Способ репрезентации окружающей среды, который в определенный момент в Средние века начал называться «картой», появился раньше письменности, хотя современные определения часто делают невозможным рассмотрение ряда визуальной продукции в качестве картографической. Российская картография определяет карту как построенное в картографической проекции, уменьшенное, обобщенное изображение поверхности Земли, другого небесного тела или внеземного пространства, показывающее расположенные на ней объекты или явления в определенной системе условных знаков, – т.е. с нашей исторической точки зрения, практически игнорируя ту визуальную продукцию, которая была создана ранее. Наиболее широкое определение карты – «графическая репрезентация пространства, которая соответствует пространственному пониманию вещей, концептов, условий, процессов или событий в мире» [Harley, 1992] – позволяет включить в анализ большое количество материалов, в том

числе средневековых религиозных изображений и произведений искусства, и скорее используется культурологами и искусствоведами [Branch, 2014]. Согласно этому подходу, первые упоминания о том способе репрезентации пространства, который мы называем сейчас картами, можно встретить в Ветхом Завете – у пророка Иезекииля сказано: «И ты, сын человеческий, возьми себе кирпич и положи его перед собой и начертай на нем город Иерусалим» [Branch, 2014].

Развитие пространственных концепций

Несмотря на все концептуальные и формальные изменения, которые прошли от первых сложенных палочек и ракушек на Маршалловых островах до современных навигаторов, карта остается крайне неточной и очень субъективной моделью действительности. Распространенный некритический подход пользователей к современной картографической продукции, вызванный доверием к технологии и строгой современной визуальностью карт, приводит практически к слепому доверию и, как следствие, обладает громадной силой и властью [Perkins, 2008].

До XV–XVI вв. европейская картография была очень ограничена и в основном состояла из навигационных карт побережий, схематических маршрутов и символических религиозных репрезентаций [Kramptom, Krygier, 2014]. Развитие именно этих ветвей картографии объясняется рядом социальных и экономических причин и отображает господствующую картину мира, в которой пространство воспринималось дискретно, набором уникальных мест, а не геометрически определенным, непрерывным пространством, которое в большей степени определялось временными координатами. Преобладание вербального способа описания над визуальными также вполне соотносится с этой картиной мира, которая подразумевает мир как набор уникальных мест, поскольку каждое место может быть аккуратно описано без необходимости выявлять и понимать пространства между конкретными местами [Branch, 2014]. Эта пространственная концепция прослеживается и в использованных визуальных методах. Города, уникальные и чрезвычайно важные по нашим современным понятиям места, были немасштабны. Между ними находилось пустое пространство, не заполненное смыслами, которое в большей степени определялось временными координатами. Стоит отметить, что в этот период развития европейской цивилизации категория «время» доминировала над категорией «пространство». Тот лексикон, который использовался для описания пространства, на самом деле базировался на временных координатах – так, например, испанское слово «espacio» (которое сейчас переводится как «пространство») только в начале XVI в. начало использоваться для обозначении плоскости и только среди профессиональных картографов и космографов [Branch, 2014].

Комбинация представлений о взаимоотношении времени и физических расстояний для определения места очевидна на средневековых Маппа мунди. Эта разновидность средневековых карт, репрезентирующих доминирующую, христианскую картину мира, исходила из религиозных взглядов на мир, а не реальных мест и окружающей действительности, перемешивая исторические и современные события в одной картине [Kramptom, Krygier, 2014].

Современная картография во многом наследует традиции, правила и техники, установленные в европейском Ренессансе. Ключевыми моментами в истории развития картографии и определением пространственной парадигмы, которая до сих пор господствует, стали перевод птолемеевской «Географии» на латынь и открытие западной цивилизацией координатной сетки. Понимание мира как сетки, в которой у каждой точки есть координаты, было внушено обывателям задолго до того, как фактически стало возможно с большой степенью точности измерить эти координаты.

Введение математических законов, координатной сетки и проекций до сих пор остается переломным и ключевым переломным моментом в истории картографии. Позднее, в XVI в.

карты станут ориентировать на север, в XIX и XX вв. ведутся споры о введении нулевого меридиана, центрировании карт и математических проекциях, но «все дебаты ведутся в рамках одной и той же координатной сетки».

Появление координатной сетки привело к практически полному исчезновению других, негеометрических видов картографирования, например Маппа мунди. Средневековые картографические практики – подчеркивание мест особого религиозного или культурного значения – уступили «научному» картографированию и геометрической точности. Эти способы визуальной репрезентации пространств, свободные от птолемеевской координированной определенности, тем не менее нашли свое место в социальных практиках последующих веков – и стали основой широкого пласта работ современных художников. Практически все современные художники от Поля Сезанна до французских ситуацианистов 50–60-х годов в своих работах обращались к темам репрезентации пространства, с более или менее критическим и политическим взглядом. Анализ картографических произведений на территории искусства XIX, XX и XXI вв. посвящено большое количество литературы, однако доминирующим взглядом на данные работы, а также художественные практики остается взгляд культуролога и историка искусств, а не картографа или географа [Obrist, 2014].

Переход к геометрической картографии довольно сильно повлиял на пространственные представления в Средневековье, уравнив все места и исключив преобладание уникального места над пространством в целом, и сформировал тот взгляд, который преобладает в условно «западной» цивилизации. В современном понимании пространство представляется однородной и геометрически делимой поверхностью, на которой разные районы и места отличаются друг от друга только по количественным, а не качественным признакам [Branch, 2014]. Современное евклидово понимание пространства представляет мир как пустую сцену для человеческих действий, на которой пространство однородное и все места могут, по крайней мере в теории, восприниматься качественно одинаковыми.

Картография и власть

Взаимоотношения картографии и власти, начавшиеся с первого наскального рисунка, также варьировались на протяжении истории и имеют два основных аспекта.

С одной стороны, в тот же самый момент, когда пространство становится геометрически детерминированным, карта в первый раз в истории становится «документом территории», т.е. границы государств приобретают линейность, а не представляются списком, как это было ранее [Branch, 2014]. После этого практически во всех цивилизациях карта становится неотъемлемым атрибутом власти, а картографическая индустрия получает финансирование и привилегии перед другими отраслями, так как геодезическая съемка местности и картографирование границ становятся одними из базовых задач любого государства.

Второй аспект связан с ролью автора в картографическом процессе и возможностями создания определенных взглядов на пространство и даже политическую ситуацию. Уравнивание мест, которое возникло с введением координат, тем не менее предоставило хорошую платформу для продвижения неодинаковых взаимоотношений между пользователем и автором – технологии, основанные на координатной сетке, всегда ставят картографа на определенную позицию – в центр карты – и таким образом оказывают влияние на восприятие культурных и социальных прав других регионов. Самый яркий пример – колониальные и имперские карты европейской культуры, которые поддерживали социальные и политические иерархии через западно-центрированные картографические изображения [Harvey, 2001]. Это один из основных и лежащих на поверхности видов манипуляции картографическим изображением, который легко считывается пользователем карт и стал даже основой для большого количества межкультурных шуток.

Новые формы картографирования в ранней Европе, изначально произведенные неполитическими деятелями, были очень быстро апроприированы властью (в разной форме), изменили представления о политической власти и привели к изменениям об идеях территориальности и к исключению нетерриториальной власти. С этого момента карта станет неотъемлемым атрибутом внешней и внутренней политики государства.

Геополитическое картографирование сформировалось как отдельное направление в 20-х годах прошлого века и в основном не из-за развития определенных инструментов или техник, а за счет изменения графического языка. Основным отличием этой картографической продукции является то, что очень часто они отображают не существующие объекты, места или исторические события, а политическое равновесие в определенных территориях.

Геополитические карты дают представление о целом комплексе событий, включая исторические причины политической ситуации и ее возможное развитие [Boria, 2008].

Карта прошла сложный путь от нейтрального графического изображения к одному из главных орудий политики, от визуальной репрезентации доминирующих представлений о пространстве к инструменту, формирующему взгляды читателя на мир и окружающую среду. Вместо того чтобы фокусироваться на том, как мы можем создать карту чего-либо, картографы переносят акценты на то, как картографический угол зрения на реальность кодирует реальность и создает идентичности. Джон Пикклс, один из ведущих американских теоретиков картографии, переосмысляет роль картографии в современном обществе, неоднократно подчеркивая, что карты стали очень активно кодировать и создавать реальность и знание, а не репрезентировать его [Pickles, 2004].

Продвижения геополитических взглядов, характерных для определенных государств в определенный момент времени, в основном очевидны при мелкомасштабном картографировании – представлении региона, континента, или же на картах мира. Так, например, интересен выбор одним из лидеров рынка картографических сервисов компанией «Google» для карт мира проекции Меркатора, которая изначально создавалась для навигационных целей [Brotton, 2012]. Математические преобразования, заложенные в ней, сохраняют форму объектов, но увеличивают размеры в приполярных областях в несколько раз. Таким образом, при самом минимальном масштабе на сервисах «Google Maps» Гренландия становится больше Африки, а Северная Америка превосходит свои реальные размеры в несколько раз.

Роль автора в картографическом процессе

Какие бы социально-экономические процессы ни влияли на карты в разное время, картографическое изображение всегда имело намного больше власти над зрителем, чем любой другой вид визуальной продукции. Довольно интересно, что степень доверия к картографической информации коррелирует с совершенствованием технических средств и уходом субъективности из картографической визуальности, при этом степень ее политической предвзятости и роль автора лишь отодвигаются на второй план, но не исчезают.

Карты являются одной из самых субъективных научных продукций. Все этапы составления и производства картографических материалов – от выбора технологии составления, проекций и центрирования до подбора цветов и выбора условных обозначений – оставляют огромное поле для авторских манипуляций и ошибок. До перехода к геометрической картографии степень достоверности карты и степень доверия ей были крайне низкими, в том числе, потому что это не было ее основной функцией. Со временем точность и достоверность карты стали одними из главных критериев ее оценки. В зависимости от типа карты, характера представленной информации, распределения данных и цели картографами используются различные методы и способы манипулирования картографическим изображением и данными. Карта всегда строилась на трех базовых элементах – масштабе, проекции и условных обозначениях.

Каждый из этих элементов – источник большого количества искажений и инструмент формирования определенных взглядов на реальность [Monmonier, 1996].

Картографический процесс начинается с отбора автором элементов реальности, которые будут отображены, – базовая картографическая основа включает ряд видимых объектов (социально-экономические объекты, гидрография, рельеф, транспортная инфраструктура), а также тематическое содержание, которое варьируется в зависимости от типа карты и ее назначения [Monmonier, 1996].

Уже на этой стадии происходят первая генерализация и аппроксимация, которая бывает крайне заметна, когда речь идет об острых геополитических вопросах (включение Крыма на сервисах Яндекс-карты весной 2014 г. в состав Российской Федерации и игнорирование этого сервисом Google maps) и менее заметна в менее конфликтных территориях. Выбор математической основы (масштаба, проекции и способов отображения масштаба) является следующим шагом моделирования картографической продукции. При составлении тематического содержания также можно выделить более и менее заметные инструменты присутствия авторского взгляда в картах. Например, один из самых очевидных приемов обработки количественных данных – использование разных типов классификации информации для создания определенного визуального образа преобладания одних данных над другими. Это метод часто используется при составлении карт во время выборов, в которых категория «большинство проголосовавших» не имеет в легенде адекватного количественного аналога. Разные классификации одних и тех же данных ведут к абсолютно разным визуальным образам, которые производят более сильное впечатление на зрителя, чем текстовые пояснения в легенде. Более тонкие методы – составление не полной картины, исключения ряда элементов, использование конкретных визуальных символов и определенных цветов, несущих определенные культурные коды в той или иной среде.

Появление таких корпоративных гигантов, лидеров мирового рынка, как «Google Maps» и «Google Earth», является крайне симптоматичным для XXI в. С одной стороны, это одна из наиболее демократичных картографических платформ, дающих пользователю на базовом уровне возможность создания и редактирования карт. С другой – картографическая продукция этой компании является самой популярной в мире – более распространенной, чем любая национальная. С третьей – доминирование визуальности карт «Google» над любой другой и позиция «взгляда Бога» из вселенной (что далеко не всегда было характерно для картографических практик) формирует вполне определенную, прозападную концепцию понимания пространства в постмодернизме [Harvey, 2001]. Это крайне характерная для картографии середины – конца XX в. практика, которая давно стала орудием власти. Она переходит из государственной парадигмы в межнациональную, корпоративную, формируя определенный спрос на картографическую продукцию и представляя узкую, но удобную для восприятия картину мира. В начале XXI в. власть корпораций над картографическим сектором социальных практик ослабевает, уступая технологиям, находящимся в открытом доступе в Интернете. При всем скептицизме по отношению к данным и технологиям, находящимся в открытом доступе, среди профессионалов академической науки именно это вывело картографию в массы и позволило практически любому человеку, имеющему доступ в Интернет, стать автором картографических произведений, тем самым сведя изначальную исключительную роль автора-картографа практически к нулю.

Заключение

Методы визуальной репрезентации пространства всегда присутствовали в мировой культуре, и под влиянием определенных социальных и экономических процессов они сформировали ту отрасль знания и культурной продукции, которую мы сейчас называем картами. К

сожалению, картография, в силу своей двойственной природы, изучена фрагментарно, и до сих пор сложно собрать в целую картину историю развития картографии, как репрезентации доминирующих пространственных идей. Не существует работ, представляющих историю развития карт вне институционального дискурса после раскола в начале XVI в. и бурного развития геометрически определенной картографии, которые помогли бы более полно осветить влияние социальных и политических процессов на графическую репрезентацию основных пространственных концепций. Доминирование визуального языка над литературным и вместе с тем математическая определенность изображения приводят к феномену некритического отношения большинства пользователей карт, что не характерно для других изображений, например массмедийных, но представляется крайне важной и интересной в современном постмодернистском контексте.

Таким образом, картография – зеркало господствующих в определенный момент времени представлений об окружающем мире и пространственных концепций. Ее двойственная природа проекции и проекта затрудняет научную задачу реконструкции общей динамики ее развития, выявления ее социальной роли в современной культуре. Однако первые важные шаги уже сделаны. Вероятно, уже в ближайшем будущем можно ожидать появления существенных научных результатов.

Список литературы

Boria Ed. Geopolitical maps: a sketch history of a neglected trend in cartography // *Geopolitics*. – Abington, 2008. – N 13–2. – P. 278–308.

Branch J. The Cartographic state. Maps, territory, and the origins of sovereignty. – Cambridge: Cambridge univ. press, 2014. – 232 p.

Brotton J. A history of the world on twelve maps. – L.: Penguin Books, 2012. – 514 p.

Harley J.B. Deconstructing the map. – Evanston, IL: Program of African studies, Northwestern univ., 1992. – N 3. – P. 10–13.

Harvey D. Extract from «Cartographic identities: geographical knowledge under globalization» // *Spaces of Capital: Towards a critical geography*. – Edinburg: Edinburg univ. press, 2001. – P. 201–209.

Kramptom J. W., Krygier J. An introduction to critical cartography. – 33 p. – Mode of accesse: <http://www.acme-journal.org/vol4/JWCJK.pdf> (Дата обращения: 20.09.2014.)

Mapping it out. An alternative atlas of contemporary cartographies / Edited by Obrist H.U. – L.: Thames and Hudson LTD, 2014. – 240 p.

Monmonier M. How to lie with maps. – Chicago: Univ. of Chicago press, 1996. – 222 p.

Pickles J. A History of spaces: Cartographic reason, mapping and the geo-coded world. – N.Y., 2004. – 224 p.

Perkins Ch. Culture of map use // *The cartographic journal*. – L., 2008. – Vol. 45, N 2. – P. 150–158.

Геопространство и метапространство: географические методы в политологии¹¹

Р.Ф. Туровский

Географические подходы и методы достаточно активно используются в российской политологии. Однако состояние теории остается не вполне удовлетворительным в связи со слабой концептуализацией и операционализацией таких базовых понятий, как «политическое пространство», «регион», «территория», «место» в политической науке. При этом важно избежать прямого заимствования определений этих понятий из теоретической географии, интегрировав их в политологический дискурс. Это значит, что понятия «пространство», «регион», «территория» и пр. должны иметь политический смысл, получать непосредственную связь с миром политики, а географические объекты – выступать в качестве политических субъектов. Все социальные и политические процессы, так или иначе, связаны с пространством, протекают в нем, имеют пространственную составляющую. В связи с этим можно говорить и о каузальной обусловленности социальных и политических процессов в пространстве, но эта обусловленность нуждается в концептуальном осмыслении.

В политологии, как отечественной, так и зарубежной, активно используется понятие «*политическое пространство*», смысл и содержание которого, однако, сильно различаются в зависимости от автора и контекста. Политическое пространство, на наш взгляд, следует рассматривать как производную от пространства как такового. И. Ньютон понимал пространство как бесконечную протяженность, а следовательно –местилище всех вещей, поскольку они обладают атрибутом протяженности. Однако в философии выделяются два различных подхода к пространству. Философская традиция, восходящая к И. Канту, акцентирует априорные формы чувственного созерцания пространства [Кант, 199]. Напротив, традиция, связанная с именами Дж. Беркли и др. [Беркли, 1978] и повлиявшая на позитивизм (оказавший, в свою очередь, большое влияние на развитие современной науки в целом и политологии в частности), акцентирует комплекс ощущений и опытных данных, т.е. формы непосредственного чувственного познания пространства.

Наличие двух подходов к пространству существенно повлияло на особенности политологического дискурса, оперирующего этим понятием. В политической географии пространство понимается как географическое пространство, т.е. овеществленное, физическое, метрическое, материальное. Но многие политологические тексты оперируют понятием «пространство» вне связи с географической картой, понимая его как объем, местилище, в котором наблюдаются политические процессы. При этом понятие «пространство» в таких работах нередко приобретает не «кантианский», а просто метафорический характер, не будучи операционализированным на основе политической науки.

По нашему мнению, следует разделить два подхода к политическому пространству – физический и «метафизический», но использовать их во взаимосвязи.

В соответствии с «*метафизическим*» подходом политическое пространство понимается как пространство-идея, пространство политических (властных) отношений, без их географической привязки. Поскольку любое пространство, вне зависимости от подхода, обладает атрибутом протяженности, при «метафизическом» подходе его можно представить в виде геометрических форм, отображающих отношения между политическими явлениями. Пространство

¹¹ Исследование выполнено в рамках программы фундаментальных исследований Национального исследовательского университета – Высшей школы экономики по теме «Структурный анализ региональных политических режимов и электорального пространства», реализуемой Лабораторией региональных политических исследований.

тогда понимается как совокупность объектов и связей между ними, определенным образом расположенных друг по отношению к другу. Особенность в том, что эти объекты не являются географическими, хотя у них могут быть свое положение, направление и расстояние в воображаемом пространстве. Такое пространство можно назвать *политическим метaprостранством*¹².

«Физический» подход к определению политического пространства предполагает, что оно характеризуется физической протяженностью. Это значит, что политические явления должны иметь протяженность (занимать площадь) и определенное положение в пространстве (т.е. являться элементом физического пространства). При таком подходе целесообразно говорить о *политическом геoprостранстве*, подчеркивая с помощью этого определения связь политического пространства и земной поверхности, «материальность» политического пространства.

Политические отношения, складывающиеся в метaprостранстве, часто (но не обязательно) имеют территориальную проекцию, т.е. определенным образом распределены и структурированы в геoprостранстве. Комбинирование двух подходов позволяет, например, рассматривать какие-либо общестрановые политические явления в целом, а затем – в их региональной проекции, т.е. в терминах их геoprостранственной структуры (распределение по территории) или же региональных модификаций для общенациональных явлений¹³.

Политическое пространство – это широкое понятие, охватывающее всю существующую совокупность политических явлений и отношений, как выраженных в физическом пространстве (геoprостранстве), так и внепространственных в узком смысле этого слова (т.е. существующих только в метaprостранстве). Политическое геoprостранство представляет собой проекцию политического пространства на земную поверхность, которая придает ему «физический» характер¹⁴.

Роль пространства в политических процессах долгое время недооценивалась в общественных науках в связи с доминированием «метафизического» подхода, а также преобладанием историцизма над географичностью. Рассмотрение пространства, притом обязательно вместе со временем, в социальных науках стало важной инновацией конца XX в. Большую роль в этом сыграл Э. Гидденс. По его словам, «социальная теория должна принять во внимание, так как это не было сделано ранее, сущностную включенность пространственно-временных пересечений во все социальное бытие» [Giddens, 1979, p. 54]. По мнению Э. Гидденса, «все социальное взаимодействие состоит из социальных практик, расположенных во времени-пространстве и организованных искусным и умным образом человеческими агентами» [Soja, 1989, p. 142]. Учитывая неразрывную связь пространственных и временных процессов, необходимо активное использование концепта *пространственно-временного континуума* (в англоязычных источниках – пространства-времени, или времени-пространства, *time-space*). Это означает важность учета исторической эволюции, трансформационных процессов, хронополитики.

¹² В отечественной географии концепцию метaprостранства развивает Д. Замятин [Замятин, 2003; Замятин, 2004]. Но его концепция рассматривает метaprостранство как пространство образов в географии культуры. Хотя у Д. Замятина и Н. Замятиной есть и работы по политическому пространству [Замятин, Замятина, 2000; Замятина, 1999]. Мы рассматриваем политическое метaprостранство как пространство не выраженных непосредственно на местности политических отношений.

¹³ Например, говорят о региональных политических режимах, региональных партийных системах, региональных политических культурах и т.п. (см. работы В. Гельмана, Г. Голосова, А. Кузьмина, В. Нечаева и др., а также автора данного исследования).

¹⁴ Важна в связи с этим точка зрения П. Бурдьё, который формулирует различие между физическим и социальным пространством: «Физическое пространство определяется по взаимным внешним сторонам образующих его частей, в то время как социальное пространство – по взаимоисключению (или различению) позиций, которые его образуют, так сказать, как структура рядоположенности социальных позиций» [Бурдьё, 1993]. При этом, на наш взгляд, в политологии, если проводить аналогии с построениями П. Бурдьё, не следует различать физическое и политическое пространства, так как политическое пространство может быть физическим, как это показывает политическая география.

В некоторых западных исследованиях сделан следующий шаг, и в развитие темы взаимоотношений пространства и социума предложена *концепция пространственности*. Пространственность (на основе работ Э. Сойи [Soja, 1989, p. 79] с дополнениями автора и применительно к политологии) проявляется в трех формах.

1. Одновременность происходящих политических событий, их синхронность в пространстве. Аналогично Л. Гумилёв использовал взаимодополняющие синхронный (одновременность исторических процессов) и диахронный (историческая динамика отдельно взятой ситуации) подходы [Гумилёв, 1990].

2. Социальный результат, которым является определенная организация пространства. Эта организация оказывается не только материальной («механическое» перемещение явлений), но и смысловой (наделение мест новыми смыслами). В результате вместо пространства *per se* возникает пространство, сотворенное человеком.

3. Активная сила, которая влияет на социальное поведение.

Впрочем, на наш взгляд, спорным здесь является третий пункт. Пространственность сама по себе вряд ли может считаться активной силой, это напоминает умножение сущностей без должного основания. Скорее она должна быть фактором, оказывающим влияние и до некоторой степени определяющим социальное поведение. Причина в том, что социализация, происходящая в геопространстве, зависит от его характеристик (более радикальный подход, вроде того, который предлагает Э. Сойя, выглядит осовремененной версией географического детерминизма, привязывающего социальное поведение к географическим условиям). При этой оговорке пространственность, понимаемая как синхронность, социальный результат и социальный фактор, будет удачным концептом, применимым для исследования отношений между центром и регионами.

Рассмотрим процесс превращения физического пространства в политическое геопространство. Согласно П. Бурдьё, в пространстве происходят два направленных друг к другу процесса – овеществление социального (в нашем случае – политического) пространства (т.е. его проецирование, физическая репрезентация) и присвоение пространства физического. Концепция «присвоения» физического пространства исходит из того, что «социальное пространство – не физическое пространство, но оно стремится реализоваться в нем более или менее полно и точно... То пространство, в котором мы обитаем и которое мы познаем, является социально обозначенным и сконструированным. Физическое пространство не может мыслиться в таком своем качестве иначе, как через абстракцию (физическая география), т.е. игнорируя решительным образом все, чему оно обязано, будучи обитаемым и присвоенным. Иначе говоря, физическое пространство есть социальная конструкция и проекция социального пространства, социальная структура в объективированном состоянии... объективация и натурализация прошлых и настоящих социальных отношений» [Бурдьё, 1993]. Процесс присвоения физического пространства, о котором говорит П. Бурдьё, на наш взгляд, имеет политический характер, стимулирует развитие и структурирование властных отношений.

Физическое пространство рассматривается в работах отечественных и зарубежных авторов как объект политического интереса. Географ Р. Сэк выдвинул в связи с этим *концепцию территориальности*, которая определяется как «попытка индивида или социальной группы контролировать или оказать влияние на людей, явления и взаимосвязи путем делимитации и контроля над географическим ареалом» [Sack, 1986, p. 19]. Территориальность в политике – это особая модель поведения политических субъектов, целью которой является власть над частью физического пространства. Создание государства, если следовать этой логике, – это проявление территориальности со стороны государствообразующих субъектов, которыми могут быть определенные социальные, этнические и иные группы, а также лидеры.

Политический интерес к территории определяется особыми качествами этой территории. В структуре политических отношений по этой причине определим *дуализм физического пространства как ресурса и как ценности*.

1. Физическое пространство воспринимается политическими субъектами как *ресурс*, что связано с неравномерностью распределения ресурсов по территории и, следовательно, ресурсным дефицитом, что стимулирует борьбу. Примерно так рассуждает П. Бурдьё: «Пространство, точнее, места и площади овеществленного социального пространства или присвоенного физического пространства обязаны своей дефицитностью и своей ценностью тому, что они суть цели борьбы, происходящей в различных полях, в той мере, в какой они обозначают или обеспечивают более или менее решительное преимущество в этой борьбе» [Бурдьё, 1993]. Физическое пространство-ресурс существует в двух формах. Во-первых, это материальная форма – размещенные на территории экономические активы, месторождения полезных ископаемых и т.п. Во-вторых, это политическая (геополитическая) форма, когда обладание определенной территорией, например, усиливает позиции государства в мире, решает проблемы национальной безопасности и т.д.

2. Физическое пространство выступает и в роли *ценности*, что связано с его восприятием через призму культуры, а также – политической идеологии. Отношение индивидов и групп к пространству может, например, рассматриваться в терминах топофилии, любви к месту [Yi-Fu Tuan, 1974, p. 93]. Ее антиподом оказывается топофобия. В концепции места Дж. Эгнью также присутствует эта идеальная составляющая: этот автор среди трех составных частей места (наряду с местоположением и местом действия) выделяет чувство места, которое есть у жителей территории, и определяет социально значимое отношение к ней, являющееся основой для социального действия [Agnew, 1987, p. 28]. Ценность территории, воспринимаемая через призму культуры, приводит к появлению идеологических течений, таких как национализм и регионализм.

Довольно часто территориальные аспекты политики рассматриваются на основе наиболее простого подхода, который можно назвать *композиционным*. В соответствии с этим подходом, территория понимается как «контейнер», не имеющий собственного значения [Developments in Electoral Geography, 1990, p. 29]. Конечно, это не более чем признание того, что общественные процессы имеют территориальную проекцию, а потому политику можно рассматривать «на примере» определенной территории. Но такие исследования не позволяют понять причинно-следственную связь между территорией и политикой, представляя собой бессистемную подборку отдельных «кейсов». Существует необходимость разработки научных, политологических подходов, которые могли бы объяснить феномен политического геопространства в его взаимосвязи с метакосмосом.

Политический процесс обычно локализован, т.е. протекает в определенной точке физического пространства, где происходит концентрация политического взаимодействия, принятия политических решений и др. (локализация, впрочем, может быть единичной или множественной, когда процесс происходит в двух и более точках). Территория или место (последнее понятие часто употребляется в западных источниках в аналогичном смысле, но не характерно пока для русскоязычного дискурса) представляет собой *арену политических процессов и отношений*.

Подход к территории (месту) как к арене можно обнаружить в различных социальных теориях. Вспоминаются термин «месторазвитие», введенный евразийцами в начале XX в., а также теория этногенеза Л. Гумилёва, в которой автор оперирует понятием «этноценоз», восходящим к месторазвитию [Гумилёв, 1990]. В зарубежной социологии Э. Гидденс использует понятие *locale*, т.е. место действия. Оно определяется как «физический регион, включенный в формирование структуры взаимодействия, имеющий определенные границы, которые помогают сконцентрировать взаимодействие тем или иным образом» [Soja, 1989, см. также: Гид-

денс, 2005]. Политико-географ Дж. Эгнью предложил свою концепцию места, одной из составляющих которого является место действия (англ. – *locale*). В своих работах мы предложили использовать термин «арена» [Туровский, 1999].

Рассмотрение территории как политической арены является первым шагом вперед от композиционного подхода. Однако этого явно недостаточно. На следующем шаге необходимо установить, в чем заключается значение территории (места), играет ли она какую-либо собственную роль помимо «вместилища», механического расположения объектов и явлений.

Здесь может быть использована *концепция медиации*, автором которой является Дж. Эгнью. В соответствии с ней место непосредственно задействовано в социальных процессах, играя в них важную, одну из определяющих ролей¹⁵. Оно участвует, таким образом, в процессе социальной структуризации (термин Э. Гидденса), не являясь простым изображенным на карте итогом «абстрактного» социального процесса, протекающего вне географического пространства [Agnew, 1987, p. 36]. Самостоятельность места определяется, например, тем, что с ним связаны экономический рост, социальные изменения, политическая идентичность. Свои рассуждения Дж. Эгнью иллюстрирует, показывая, как локальный контекст влияет на развитие политических партий и голосование избирателей в конкретных условиях.

Используя концепции арены и медиации, мы предлагаем вместо композиционного при-
менять более глубокий – *контекстуальный подход* к исследованию политического значения территории и политического пространства в целом. В соответствии с этим подходом территория понимается как политический контекст¹⁶. Она включена в политический процесс, является его неотъемлемой частью и характеристикой.

Общепринятые подходы к изучению физического пространства, разработанные в рамках географической науки и соответствующие тем или иным философским представлениям о пространстве, считают его имманентными характеристиками геометрическую трехмерность и подвижность во времени (фактически речь идет о четырех измерениях). Поэтому пространственные исследования носят по преимуществу структурный характер, нацелены на выявление и объяснение структуры, что объясняется главными особенностями пространства – протяженностью, объемом, динамичной трехмерностью. Поэтому анализ в данном случае означает определенное деление пространства на части. Существует необходимость *структурного анализа* политического геопространства, как и политического пространства в целом¹⁷.

Сущностной характеристикой политического геопространства является его неоднородность. Причины неоднородности связаны с особенностями систем расселения, социальных коммуникаций, идентичностей, политических интересов и организации власти. Политическое сообщество стремится к пространственной компактности и гомогенности, поскольку носители схожих политических интересов тяготеют друг к другу при расселении (феномен относительной социальной однородности локальных сообществ), и наряду с этим политические коммуни-

¹⁵ На Дж. Эгнью повлияло его знакомство с микросоциологией, рассматривающей локальные особенности социального поведения и открывающей, по его мнению, совершенно новые операциональные возможности для изучения социума. Он указывает на тот факт, что все индивиды живут, работают и т.п. в определенных локальных условиях и границах, что предопределяет наличие у всех политических процессов локального характера.

¹⁶ При этом необходимо избежать крайностей географического детерминизма, который пытается объяснять политические явления их местоположением. Такое «обратное», «активное» влияние территории на социальную реальность существует, но имеет непрямой и ограниченный характер.

¹⁷ Географический подход, легший в основу политической географии, тоже посвящен проблемам дифференциации и структурирования географического пространства, в котором проходит организация общества. У В. Горбачевича можно встретить определение, в соответствии с которым политическая география рассматривается как наука о территориально-политической организации общества в географическом пространстве [Горбачевич, 1976, с. 43]. Территориально-политическая (или политико-территориальная) организация общества понимается как совокупность территориальной дифференциации политических явлений и управления территориальной структурой политики [Ягья, 1974]. В. Колосов говорит об интегральном геопространстве, которое включает в себя различные – политические, экономические, культурные – аспекты и дифференциация которого определяется территориальным разделением труда [Колосов, Мироненко, 2001, с. 243].

кации на компактной территории часто способствуют сближению позиций (это показали исследования эффекта соседства в электоральной географии [Developments in Electoral Geography, 1990]). При этом в более обширном пространстве возникает неизбежная множественность различающихся сообществ, не исключается и внутренняя политическая поляризация географически относительно компактных сообществ. Административный регион обычно представляет собой совокупность сообществ, поскольку, как уже говорилось, на практике невозможно обеспечить соответствие каждой административной единицы каждому консолидированному политическому сообществу. Сказанное в полной мере относится к государству, которое всегда состоит из большого числа региональных и, особенно, локальных политических сообществ. Исследовательской проблемой является не сама гетерогенность государства, а характер и степень этой гетерогенности, которые и оказывают прямое влияние на политический процесс.

Региональное структурирование общества, или регионализация, представляет собой относительно новый предмет исследования, возникший во второй половине XX в. Один из пионеров этого направления в социологии Э. Гидденс определяет регионализацию как «временную, пространственную или пространственно-временную дифференциацию регионов внутри или между местами действия» [Giddens, 1984]. Он подчеркивает, что «регионализация – это важное понятие, призванное сбалансировать представление о том, что общества всегда представляют собой гомогенные, унифицированные системы» [Giddens, 1984]. В процессе регионализации направленно создаются формальные регионы и самостоятельно складываются региональные политические сообщества (см. ниже)¹⁸.

Можно заметить, что анализ структурных процессов в различных науках построен на схожей терминологии. В отечественной географической науке выделяют две составляющие процесса пространственной дифференциации – концентрацию и стратификацию [Гладкий, Чистобаев, 2000]. Другие авторы противопоставляют концентрацию и деконцентрацию [Грицай и др., 1991]. Наибольший интерес для нас представляет процесс концентрации, который означает, что явления накапливаются в определенных очагах. Процесс концентрации приводит к формированию центров, а значит, к росту пространственной неоднородности. Поскольку количество центров, как правило, больше единицы, возникает поляризация пространства, связанная с противоречиями и коренными различиями между определенными крупными центрами, которые играют роль противостоящих полюсов.

Такие понятия, как «концентрация» и «деконцентрация», «стратификация» и «поляризация», используются на практике применительно к структурированию любых пространств. Например, социология пользуется концепцией социальной стратификации, рассуждает о поляризации общества. В политологии говорят о концентрации власти. Такие особенности дискурса свидетельствуют в пользу *структурной идентичности физического и политического пространств, схожести метапространства и геопространства*. Первичным является описание процессов их структурирования, которое проводится с использованием одних и тех же терминов. Процессы, протекающие в политическом и физическом пространствах, во многом однотипны. В политологии региональные различия всегда рассматриваются в качестве одной из разновидностей социально-политических различий.

Структурирование политического геопространства – это следствие наложения политико-административных границ на метапространственную политическую структуру общества. В результате государство оказывается не только определенным набором административных регионов, но и гораздо более сложным комплексом различных политических сообществ. На наш взгляд, административно-политические границы дополнительно усиливают поляризацию,

¹⁸ Регионализация бывает двух типов. Одна – направленная, управляемая, или административная. В ее результате появляются административно-территориальные единицы. Другая – «стихийная», «спонтанная», коммуникативная, или «социологическая» (если использовать терминологию Р. Даля). Она производит политические сообщества.

поскольку борьба за власть и реализацию политических интересов протекает на данной территории и в данных условиях социальной и территориальной неоднородности. Это влечет за собой рост политической активности наиболее крупных социальных групп на данной территории, что в случае приблизительного равенства приводит к поляризации.

В структурном анализе политического геопространства понятие «*регион*» следует условно, чтобы уйти от терминологической «разноголосицы», признать понятием, производным от более общего понятия – «территории». Территории представляют собой простейшие структурные единицы физического пространства, а для политической науки – политического геопространства. Прежде всего, территория – это площадь с определенными границами. Территорию можно определить как участок земной поверхности, выделенный на основе конвенционально установленных критериев для тех или иных исследовательских или практических целей.

Регион – это «безразмерное» понятие с точки зрения географического масштаба (поэтому регион – это целостность и одновременно часть целого). Оно может использоваться для обозначения любого участка земной поверхности, обладающего набором специфических свойств. Именно определенные свойства, качества и создают регион, отличая его от более абстрактной территории, имеющей геометрический характер.

Строгое и целостное определение понятия «регион» можно найти в географическом словаре Э. Алаева. Согласно этому определению, регион – это «территория, по совокупности насыщающих ее элементов отличающаяся от других территорий и обладающая единством, взаимосвязанностью составляющих элементов, целостностью, причем эта целостность – объективное условие и закономерный результат развития данной территории» [Алаев, 1983]. Анализ этого определения позволяет сделать вывод о том, что регион – это определенный комплекс явлений (элементов), который характеризуется условным единством и целостностью.

В политологии понятие «регион» используется очень часто, но в разных смыслах. Обобщая используемые подходы, определим дуализм двух наиболее распространенных представлений о регионе – как о формальном политическом институте и как о политическом сообществе. Отсюда предлагаемые нами два основных (но не единственных) подхода к региону – формально-институциональный и общественный (коммуникативный).

Формально-институциональный подход, который также можно назвать институционально-правовым или даже юридическим, понимает регион прежде всего как формальный политический институт. Подобная региональная институционализация объясняется тем фактом, что после перехода народов мира к оседлости принята именно территориальная форма организации публичной власти. Принципиально важные в политике отношения господства-подчинения непосредственно связаны с физическим пространством. По мнению Т. Парсонса, «принуждение по природе своей связано с территорией, так как оно является средством физическим» [Парсонс, 2002, с. 253]. Как известно, наличие территории является обязательным признаком государства, как и любой административно-территориальной единицы.

На наш взгляд, доминирующий в политологическом дискурсе формально-институциональный подход к региону недостаточен для понимания отношений в политическом геопространстве, он имеет механистический и формально-юридический характер. Предлагаемый нами второй – *общественный – подход* (от слова «сообщество», англ. – *community*) в большей степени связан с реально складывающейся в физическом пространстве территориальной организацией политических отношений. В соответствии с ним субъектом политических отношений выступает региональное (или, возможно, – локальное) сообщество. Акцент сделан на объединении индивидов по территориальному признаку для выражения своих политических интересов – вне прямой связи с административно-территориальным делением. Общественный подход учитывает, что политическими акторами являются не абстрактные администра-

тивно-территориальные единицы, а люди и их группы, движимые и объединенные определенными интересами.

В общественных науках главной характеристикой сообщества считается взаимодействие. К. Дойч определяет политическое сообщество как «сообщество социального взаимодействия, дополненного как принуждением, так и согласием» [Deutsch, 1954]. *Региональное политическое сообщество мы определяем как пространственно локализованную группу людей, объединенных политическими коммуникациями и участвующих в политических отношениях*.

Сообщественный подход можно также назвать *коммуникативным подходом*. Дело в том, что именно политические коммуникации создают региональное сообщество, которое представляет собой географически компактный сгусток политических коммуникаций. Главным индикатором существования сообщества является наличие характерной для него, консолидирующей идентичности. Например, в соответствии с теорией К. Дойча, политические коммуникации играют ключевую роль в развитии национализма [Deutsch, 1953]. В нашей работе важно отметить, что политические коммуникации способствуют сближению позиций и идентичностей, их позитивному синтезу, что и приводит к формированию сообщества.

Впрочем, локализованные коммуникации не обязательно имеют односторонний, только консолидирующий эффект. На территории всегда возникает политическое взаимодействие, но его итогом может быть как консолидация локализованных групп, так и их поляризация в результате взаимного отталкивания¹⁹. Но в любом случае возникает общественный эффект, положительный или отрицательный по своему знаку. А это, в свою очередь, означает, что сообщество обретает политическую субъектность, т.е. происходит его активизация и актуализация в политическом пространстве (в том числе в геопространстве). Различение *консолидированных и поляризованных сообществ* имеет важное концептуальное значение.

В отличие от формального региона, сообщество не имеет четких географических границ, его границы находятся в метaprостранстве. Географические, спроецированные границы сообществ могут лишь асимптотически стремиться к границам формализованных регионов. Полное соответствие наступает только в идеально-типическом случае абсолютного географического соответствия формального региона и сообщества, т.е. при «идеальном» административно-территориальном делении, которое на практике реализовать невозможно в связи с дисперсностью расселения людей и их индивидуальными различиями. Территориальная проекция реально существующего политического сообщества лишь приближается к границам формальных регионов. Она стремится к ним приблизиться, поскольку соответствие (конгруэнтность) означает большую однородность формального региона, а значит, снижение внутренней конфликтности в силу большего совпадения и / или гармонии политических интересов. Но члены сообщества в самом «лучшем» случае могут быть разбросаны по территории, нигде при этом не составляя все 100% населения.

Возвращаясь к формально-институциональному подходу, отметим важное сущностное качество формального региона – его *имманентную неоднородность*, проявляющуюся пусть и в принципиально разной степени. Эта неоднородность создает внутренние поляризации, несовпадения политических интересов, конфликты и расколы, которые являются «питательной средой» политических отношений и, в частности, характерны для подавляющего большинства государств – особой группы формальных регионов.

¹⁹ По поводу «полезности» и «вреда» изоляции социальных групп в сообществе в науке нет единого мнения. Правильнее говорить о нелинейной зависимости культурных различий и стабильности. А. Лейпхарт прав, когда он предпочитает рассматривать неоднородные сообщества в континууме, а не через дихотомию составляющих их групп – полюсов. Усиление коммуникации в едином континууме позволяет снять часть противоречий за счет обмена культурными ценностями и более близкого знакомства. Однако на определенном этапе оно может вылиться в резкое усиление противоречий, если политические интересы этих групп войдут в конфликт. Поэтому Д. Истон, рассматривая устойчивые политические системы, все же предпочитал сотрудничество замкнутых в себе культурных общностей [Easton, 1965, p. 250].

В социальных науках наличествует своя крайность, когда регион понимается только как сообщество, в результате чего исследование на практике сводится к его географическому ядру и / или социальной доминанте, оставляя без внимания периферии и меньшинства. В региональных политических исследованиях, проводимых на субнациональном уровне, обычно применяется формально-институциональный подход: исследования привязаны к административным единицам и уделяют преимущественное внимание политическим процессам и отношениям на юридически заданной территории. На наш взгляд, существует необходимость эффективного сочетания этих двух подходов, что позволит получить полное представление о политическом геопространстве.

Синтез формально-институционального и общественного подходов к регионам в политологии может быть проведен с помощью *системного подхода*. Этот подход позволяет перейти от отдельных институтов, сообществ и групп интересов к рассмотрению целостных систем, выраженных в геопространстве.

В соответствии с самым общим определением система представляет собой совокупность элементов, которые находятся в определенных отношениях и связях между собой и с внешней средой данной системы. Для системы характерны целостность и делимость на взаимосвязанные части. В сравнительной политологии можно встретить, например, следующее определение системы: «Любое образование, определяемое как система, обязательно должно обладать двумя свойствами: 1) состоять из совокупности взаимосвязанных частей и 2) отграничиваться от окружения, с которым взаимодействует...» [Алмонд и др., 2002, с. 37–38]. Таким образом, главными характеристиками системы являются: а) отношения со средой, внешние отношения; б) внутренняя структура. Легко заметить, что обе характеристики системы имеют свои территориальные проекции, выражены в физическом пространстве.

В социологии социальная система понимается как система повторяющихся социальных практик. По мнению Э. Гидденса, система – это упорядочение социальных отношений во времени-пространстве, понимаемое в качестве воспроизводящихся практик (ср. у Т. Парсонса: социальная система – это интегративная подсистема действия, у Д. Истона: политическая система – это система поведения). Система включает в себя нормы и ресурсы, постоянно включенные в воспроизводство социальных систем.

В сравнительной политологии политическая система обычно рассматривается как разновидность социальной системы и в этом контексте как совокупность формальных политических институтов: «Политические системы – особый тип социальных систем, а именно таких, которые задействованы в принятии властных публичных решений... политическая система представляет собой совокупность институтов (таких, как парламенты, бюрократии и суды), которые формулируют и воплощают в жизнь коллективные цели общества или существующих в нем групп» [Алмонд и др., 2002, с. 37–38]. Важно отметить, что авторы этого определения сами говорят о «несметном» количестве политических институтов («совокупностью» которых является политическая система), не сводя их к одним только институтам, которые названы в их определении.

В то же время не следует забывать, что основатель теории политических систем Д. Истон предлагал немного иную трактовку своего ключевого понятия. Он считал, что в основе политической системы находится политическое разделение труда (одним из аспектов политической системы можно назвать «группу людей, связанных между собой политическим разделением труда» [Easton, 1965]), и в политической системе происходит взаимодействие, связанное прежде всего с распределением ценностей (например, социализация, рекрутирование, коммуникация)²⁰.

²⁰ Подход Д. Истона восходит к социологии Э. Дюркгейма, который отмечал определяющую роль разделения труда в социальных процессах и считал, что это новое явление отменяет старое сообщество (общину), объединенное единством чувств,

Понятие «*территориально-политическая система*» (ТПС) впервые возникло в отечественной политической географии, но и там не получило широкого распространения, хотя автор концепции В. Колосов обоснованно, на наш взгляд, считает его ключевым для политической географии. Территориально-политические системы определяются как «объективно взаимосвязанные сочетания элементов политической сферы (политических и административных границ, центров управления, органов власти, партий, общественных движения и т.д.), функционирующие на определенной территории» [Колосов, Мироненко, 2001, с. 243]. В этом определении территориально-политическая система объединяет политические институты и формальные границы, что не противоречит подходам, известным в политологии. Однако определения территориально-политических систем, бытующие в политической географии, для политологии являются недостаточно полными. Политическая система не может определяться просто как взаимосвязанное сочетание элементов, она должна функционировать по принципам системы. Иначе неясно, откуда берется «определенная территория» и как можно обосновать географические границы, которые должна иметь территориально-политическая система.

Территориально-политическая система – это разновидность политической системы, представленная в физическом пространстве (геопространстве), т.е. имеющая географические границы. Для выявления реально существующих территориально-политических систем и изучения их функционирования нужно исследовать выполнение на территории системных функций в рамках сконцентрированного (локализованного) в определенных границах политического разделения труда. Поскольку с территорией, в силу особенностей организации публичной власти, всегда связаны деятельность политических институтов и юрисдикция властных органов, может быть признан ее *потенциал* политической системы. *Актуализация* данного потенциала зависит от того, насколько на территории и, например, на какой части формального региона действительно выполняются системные функции.

Административно-территориальное деление, политико-административные границы создают формальную основу, каркас территориально-политических систем. Например, государство, всегда состоящее из множества регионов, представляет собой территориально-политическую систему уже по одной этой причине, в силу того, что оно делится на политически значимые части – регионы, а государство при этом успешно поддерживает территориальную целостность. Политическое разделение труда всегда по определению есть в формальных регионах, где происходит дифференциация политических функций в связи с наличием региональной власти и различных политических структур местного значения. В процесс формирования территориально-политических систем включены оказавшиеся (добровольно или нет) в данных административных границах сообщества, которые сами по себе, как правило, не имеют четких, линейных географических границ.

Территориально-политическая система, согласно теории, должна быть отграничена от внешней среды, которая оказывает на нее возмущающее воздействие. Д. Истон делит внешнюю среду на две части – интрасоциетальную и экстрасоциетальную. К интрасоциетальной среде относятся экономика, культура, социальная структура и межличностные отношения. Они представляют собой другие, не политические системы, существующие в обществе. Экстрасоциетальная среда находится вне данного общества и представляет собой международное сообщество, частью которого является данная система. Сюда попадает и мировая политическая система, и системы неполитического происхождения, такие как международная экономика или международная система культуры [Easton, 1965].

Исходя из концепции Д. Истона, на наш взгляд, среду территориально-политической системы удобно определить следующим образом.

т.е., на языке нашей концепции, – сочетанием идеологии и коммуникаций. Напрашивается аналогия с территориальным разделением труда, которое играет огромную роль в структурировании пространства (прежде всего – геоэкономического, но во многом и политического).

- Триада элементов экстрасоциетальной среды: геополитика, геоэкономика и геокультура.
- Диада элементов интрасоциетальной среды: экономика в границах данной системы, культура в границах данной системы.

Исследование территориально-политических систем в пространственно-временном континууме обязательно включает их эволюцию и судьбу, появление и исчезновение. Другими словами, существует проблема устойчивости (резистентности) систем в отношении внешних воздействий. Не случайно типичный анализ политических систем построен вокруг проблем их стабильности, внешних воздействий и внутренних расколов.

Выживание, резистентность системы в отношениях с меняющейся и, возможно, агрессивной средой обеспечиваются с помощью ее внутренней перестройки, т.е. политической реформы. Подход Д. Истона к этой проблеме, на наш взгляд, недостаточно точен. По Д. Истону, одним из ответов системы на раскол может быть усиленная гомогенизация – «снижение или устранение религиозных, языковых или других культурных различий между группами» [Easton, 1965]. Но расколы чаще всего носят имманентный, неустранимый и притом весьма конфликтный характер, а навязываемая гомогенизация способна вызвать обратный эффект. Поэтому выживание системы может обеспечиваться такими реформами, которые создают компромиссный вариант политической организации.

Вообще, телеология стабильности политических систем является справедливой причиной для острой критики этой теории, которая, как считается, не в состоянии описать причины социальных революций, поскольку акцент сделан на устойчивость и самоорганизацию. Такая аберрация восходит к мнению Т. Парсонса, который указывал на важность восстановления и самоорганизации системы (аналогично Д. Истон акцентирует равновесие в системе). Еще до Т. Парсонса темы выживания, сохранения и стабильности социальных систем были главнейшими для Э. Дюркгейма и А.Р. Рэдклифф-Брауна. В связи с этим не меньшее значение получает исследование проблемы разрушения территориально-политических систем. В случае административно-территориальных единиц это их принудительное уничтожение центром. В случае государств – распад, самоликвидация, создание новых и т.п.

Анализ существующих источников открывает парадокс теории и практики изучения политических систем в отношении важнейшей для нас «географической» темы границ. Д. Истон возражает против определения пространственных границ у политических систем, хотя на самом деле не отрицает их право на существование. На практике в политической науке обычно рассматриваются политические системы определенных обществ, которые совпадают с определенными государствами. Этот подход всегда используется в сравнительной политологии, которая в значительной степени посвящена сравнению политических систем, идентифицируемых через их национально-государственную принадлежность.

Можно согласиться с Д. Истоном, когда он утверждает, что политико-административные границы представляют собой границы всего общества, а не политической системы, существующей в этом обществе. Следовательно, «границы системы не обязательно должны быть пространственными по своей природе» [Easton, 1965]. Действительно, физическая граница не может отделить политическое взаимодействие в обществе от того, которое связано с интрасоциетальными системами, представляющими собой внешнюю среду политической системы, но в то же время существующими в том же пространстве и времени, что и политическая система данного общества.

Политическая система исходно не имеет географических границ. Но она обычно формируется в пределах заданных политико-административных границ. Критерии, с помощью которых определяются границы политической системы, могут иметь географическую проекцию. Политическая система, на наш взгляд, асимптотически стремится к тому, чтобы заполнить все физическое пространство, занимаемое данной политико-административной единицей (госу-

дарство, регион и др.): как минимум потому, что в этом заинтересована власть. Но «географический зазор» между системой и административной единицей существует почти всегда, поскольку часть территории может не участвовать в политическом разделении труда.

Определение границ ТПС возможно с помощью подхода «центр – периферия». Политическая система в ее географической репрезентации однозначно занимает часть территории данного политико-административного образования, а именно ее *политическое ядро*, связанное системой коммуникаций и реальным разделением политического труда. Здесь-то и возникает территориально-политическая система, к ней также подключаются ближние периферии. Критерием включенности территории в функционирование политической системы может быть вовлеченность населения в общенациональную (общерегиональную) политическую жизнь.

Также при определении реальных границ ТПС должна приниматься во внимание *нелинейность границы*. Политологи, не знакомые с теоретической географией, обычно представляют политико-административные границы в качестве линейных образований. Неудивительно, что они не склонны соотносить границы политических явлений с линейными географическими границами. Однако политическая граница далеко не всегда носит линейный характер. Она может быть «размытой», представляя собой площадное явление – переходную зону. В переходных зонах можно говорить о неполной, частичной представленности данной политической системы и о наложении двух и более политических систем на одной географической территории.

В завершение отметим, что системный подход подвергается справедливой критике в современной политической науке. В то же время, как показывает анализ источников, критики не отрицают сам факт существования политических систем. Скорее, они стремятся дистанцироваться от натурализма и структурализма. Кроме того, проблема релевантности системного подхода прямо связана с известной в современной науке дискуссией о соотношении структуры и агента.

Структурализм (К. Леви-Стросс, М. Фуко, Ж. Деррида и др.) ориентирован на выявление упорядоченных, устойчивых, повторяющихся явлений, которые составляют структуры социальной жизни. Дилемма отношений между структурой и агентом решается здесь в пользу обезличенной структуры. На развитие системного подхода в социальных науках большое влияние оказал натурализм, основанный на аналогиях функционирования социальных и биологических систем, которые следуют из теории систем, разработанной биологом Л. фон Берталанфи [Bertalanffy, 1969]. «Натуралисты» считали необходимым создать точную теорию в нефизических отраслях науки на основе системного подхода. В дискурс социальных наук проникли такие понятия, как «гомеостатическое равновесие», «саморегуляция системы». Социальные системы стали рассматриваться в качестве открытых систем, по аналогии с биологией и в отличие от физики с ее закрытыми системами. Кроме того, из кибернетики Н. Винера было заимствовано представление об иерархических уровнях управления.

На наш взгляд, системный подход можно сделать удобной теоретико-методологической основой, только очистив его от крайностей структурализма и натурализма. К. Хэй делит политические теории на две группы – структуралистские (в которых важны структура и контекст) и интенционалистские, или волюнтаристские (в которых важен агент, «живой» актор). Оба подхода в крайних вариантах упрощают и редуцируют социальную реальность. Структурализм недооценивает акторов, описывает процессы без субъектов, как будто «невидимая рука» управляет акторами, предопределяя регулярность и предсказуемость их политического поведения [Нау, 2002, р. 102]. Критика структурализма (с которым неразрывно связана теория систем) привела к другой крайности, когда на первый план выходят интенции, мотивации, эмоции, самосознание акторов, которые способны понимать свои действия, но действуют по собственному усмотрению, волевым порядком. Интенционализм способен только к дескрип-

тивными методам, он оказывается по преимуществу эмпирическим способом описания и обобщения политического поведения. Для него политические системы не имеют смысла.

В конце XX в. усилились попытки найти компромисс между двумя крайностями. Примером является теория структуризации, предложенная Э. Гидденсом. Под структуриацией он понимает структурирование социальных отношений во времени и пространстве посредством дуализма структуры. Дуализм структуры выражается в том, что она одновременно выступает «посредником и результатом поведения, которое структура периодически организует. Структурные качества социальных систем не существуют вне действия, но они постоянно вовлечены в его воспроизводство» [Нау, 2002, р. 119]. Структура представляет собой «следы памяти» в деятельности акторов, а лучше сказать – принятые практики, в том числе основанные на законах. Структура также отличается пространственно-временной изменчивостью. Можно сослаться в связи с этим на концепцию морфогенетической последовательности М. Арчер. По ее мнению, структура предшествует действию, которое ее воспроизводит или трансформирует; наблюдается морфогенез структуры [Archer, 1989; Archer, 2003].

В развитие теории структуризации и применительно к политическим отношениям К. Хэй развивает «подход стратегических отношений», автор которого – Б. Джессоп (strategic-relational approach). По мнению этих авторов, структура и агент существуют всегда, их различие является сугубо аналитическим построением. Правильнее говорить о *диалектике в отношениях между структурой и агентом*. Развивая мысль Э. Гидденса, К. Хэй замечает, что структура и агенты представляют собой не две стороны монеты, а сплав, из которого сделана одна монета [Нау, 2002, р. 126–127]. В перспективе существуют стратегическое действие, совершаемое актором, и стратегически выбранный контекст. В качестве стратегических акторов могут выступать как индивиды, так и коллективы [Нау, 2002, р. 131], к числу которых мы можем отнести региональные сообщества.

Из вышесказанного следует, что территориально-политическая система должна рассматриваться не в качестве самодостаточной, «механически» работающей структуры, а как *идеальная модель*. В противном случае мы приходим к волюнтаризму (полное отсутствие системности в политических отношениях). Как полагает К. Хэй, во-первых, акторы действуют в соответствии с определенными взглядами о социальной и политической среде. Во-вторых, акторы не обладают совершенной и исчерпывающей информацией о контексте, они лишь делают предположения о характере последствий своей деятельности. Поэтому и функционирование территориально-политической системы не обезличено и сильно зависит от «человеческого фактора», от политических идей и информационных возможностей акторов.

Список литературы

- Алаев Э.Б. Социально-экономическая география: понятийно-терминологический словарь. – М.: Мысль, 1983. – 350 с.
- Сравнительная политология сегодня / Алмонд Г., Пауэлл Дж., Стром К., Далтон Р. – М.: Аспект Пресс, 2002. – 537 с.
- Беркли Дж. Сочинения. – М.: Наука, 1978. – 556 с.
- Бурдые П. Социология политики. – М.: Socio-Logos, 1993. – 336 с.
- Гидденс Э. Устроение общества. – М.: Академический проект, 2005. – 528 с.
- Гладкий Ю.Н., Чистобаев А.И. Регионоведение. – М.: Гардарики, 2000. – 384 с.
- Горбачевич Р.А. Актуальные вопросы политической географии // Экономическая география: К XXIII Международному географическому конгрессу. – Л., 1976. – С. 41–52.
- Грицой О.В., Иоффе Г.В., Трейвиш А.И. Центр и периферия в региональном развитии. – М.: Наука, 1991. – 168 с.
- Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. – Л.: Гидрометеиздат, 1990. – 327 с.

Замятин Д.Н. Геополитика образов и структурирование метапространства // ПОЛИС. – М., 2003. – № 1. – С. 82–103.

Замятин Д.Н. Метагеография: пространство образов и образы пространства. – М.: Аграф, 2004. – 512 с.

Замятин Д.Н., Замятина Н.Ю. Пространство российского федерализма // ПОЛИС. – М., 2000. – № 5. – С. 98–108.

Замятина Н.Ю. Модели политического пространства // ПОЛИС. – М., 1999. – № 4. – С. 29–41.

Кант И. Критика чистого разума. – СПб.: Тайм-Аут, 1993. – 477 с.

Колосов В.А., Мироненко Н.С. Геополитика и политическая география. – М.: Аспект Пресс, 2001. – 479 с.

Парсонс Т. О социальных системах. – М.: Академический проект, 2002. – 831 с.

Туровский Р.Ф. Политическая география. – М.; Смоленск: Изд-во СГУ, 1999. – 381 с.

Ягья В.С. Пространство в политической географии (постановка проблемы) // Экономическая и социальная география: проблемы и перспективы. – Л., 1974. – С. 73–79.

Agnew J. Place and politics. The geographical mediation of state and society. – Boston: Allen & Unwin, 1987. – 267 p.

Archer M. Culture and agency. – Cambridge: Cambridge univ. press, 1989. – 343 p.

Archer M. Structure, agency and the internal conversation. – Cambridge, UK; N.Y.: Cambridge univ. press, 2003. – 370 p.

Bertalanffy L. von. General systems theory. – N.Y.: G. Braziller, 1969. – 289 p.

Deutsch K. W. Nationalism and social communication. – N.Y.: Publ. jointly by the Technology Press of the Massachusetts Institute of Technology, and Wiley, 1953. – 292 p.

Deutsch K. W. Political community at the international level. – Garden City, N.Y.: Doubleday, 1954. – 70 p.

Developments in electoral geography / Ed. by Johnston R.J., Shelley F.M. and Taylor P.J. – L.; N.Y.: Routledge, 1990. – 278 p.

Easton D. A systems analysis of political life. – N.Y.: Wiley, 1965. – 507 p.

Giddens A. Central problems in social theory: action, structure and contradiction in social analysis. – L.: Macmillan, 1979. – 294 p.

Giddens A. The constitution of society. Outline of the theory of structuration. – Cambridge: Polity Press, 1984. – 402 p.

Hay C. Political analysis. A critical introduction. – N.Y.: Palgrave, 2002. – 314 p.

Sack R. Human territoriality: Its theory and history. – Cambridge, N.Y.: Cambridge univ. press, 1986. – 256 p.

Soja E. W. Postmodern geographies. The reassertion of space in critical social theory. – L.; N.Y.: Verso, 1989. – 266 p.

Yi-Fu Tuan. Topophilia. – Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1974. – 260 p.

Власть людей

Действие как событие и текст: к социологическому осмыслению Поля Рикёра

А.Ф. Филиппов

Теоретическая социология соприкасается с философией, но отношения между ними непростые. Полноценная теоретическая работа в социологии возможна лишь с опорой на философию – если, конечно, та предоставляет для этого поддающиеся освоению ресурсы, если обращение к ней напрашивается логикой науки, а не прагматическими соображениями вроде «обновления» или «актуализации». В своей статье я пытаюсь показать, что может взять общая, абстрактная социологии из философии Поля Рикёра.

Это рассуждение – лишь часть большого проекта, посвященного теории социальных событий. Социология, в ее веберовском варианте, возникала как наука о действии, и уже довольно давно социологи и философы (иногда, как в случае Джорджа Герберта Мида, социолог и был философом) пришли к выводу, что действие – это событие. Но социология действия развилась в несколько любопытных концепций, а социология события, концептуализация события до сих пор развиты очень мало. При помощи философии Рикёра я хочу сделать несколько шагов в направлении их совершенствования. В этой работе я исхожу из того, что *действие есть событие, совершающееся в мире*. Это суждение обладает интуитивной достоверностью, но трактовки «действия», «события» и «мира» у разных авторов различаются иногда очень серьезно, и вопрос об основоположениях философии действия как события *pluraliatantum* остается открытым.

Одно из сравнительно менее амбициозных рассуждений, отвечающее на такого рода вопрос с точки зрения *теоретико-социологической*, я попытаюсь развить ниже, отталкиваясь от статьи Поля Рикёра «Модель текста: осмысленное действие как текст» [Рикёр, 2008] и от позднейших публикаций, в первую очередь, книг «Память, история, забвение» [Рикёр, 2004] и «Я-сам как другой» [Ricoeur, 1992]. Социология в данном случае будет рассматриваться как одна из версий теории действия, а действие – как событие действия.

I

Статья Рикёра тематически принадлежит тому полю, которое можно было бы назвать междисциплинарным, если бы от частого употребления это слово не потеряло почти всякий смысл. Рикёр исследует проблемы нескольких дисциплин, он привлекает разнородные ресурсы, прежде всего, разумеется, философские, а также теоретико-социологические и лингвистические, но, возможно, правильнее всего было бы говорить о том, что здесь мы имеем дело именно с теорией действия как *особой дисциплиной*. Развернутая теория действия может оказаться и социологией²¹, и этикой, но здесь она еще не развернута, она только начинается.

Гипотеза, говорит Рикёр, состоит в том, что социальные науки являются герменевтическими, «1) поскольку их объект обнаруживает некоторые черты, конститутивные для текста как такового, 2) поскольку в их методологии разрабатываются процедуры, аналогичные

²¹ «Макс Вебер определяет свой объект как “sinnhaftorientiertes Verhalten” или “ориентированное по смыслу” поведение», – говорит Рикёр, терминологически не точно цитируя классика социологии [Рикёр, 2008, с. 29]. Именно определения Вебера служат для него отправным пунктом при доказательстве герменевтического призвания социальных наук.

процедурам “Auslegung” или интерпретации текста» [Рикёр, 2008, с. 25]. Отсюда вытекают и задачи: необходимо выяснить, продолжает он, «до какой степени понятие текста можно рассматривать в качестве парадигмы так называемого объекта социальных наук и насколько мы можем использовать методологию интерпретации текста как парадигму интерпретации в социальных науках» [Рикёр, 2008, с. 25]. Методологический вопрос, таким образом, поставлен в зависимость от вопроса о самом объекте. Именно потому, что действие отчасти подобно тексту, его и можно толковать, подобно тексту. Но к действию Рикёр переходит лишь после того, как дает характеристику *дискурсу* как *событию языка*. Он говорит также и по-другому: «речь как событие», «исполнение языка в дискурсе» [Рикёр, 2008, с. 26]. Событийная действительность дискурса противопоставляется относительно устойчивой системе языка. Дискурс *моментален* (совершается когда-то), *персонализирован* (совершается кем-то, содержит в себе референцию к говорящему), *а также разомкнут*, т.е. отсылает не только к своей собственной истории, но прежде всего к миру (*о чем говорят*) и к участникам (*для кого говорят*).

Зафиксируем здесь пока что следующее: Рикёр различает *пребывание* системы (языка) и *преходящий* характер дискурса. Язык исполняется в дискурсе, событие дискурса *есть* только в настоящем, поэтому для истолкования дискурса его ноэма должна быть запечатлена, зафиксирована. Рикёр подчеркивает, что фиксируется именно смысл сказанного, а не событие говорения²². Итак, система языка действительна как некий ресурс возможностей, она актуализируется через исполнение посредством высказываний, которые названы моментальными (значение моментальности не расшифровано), а поскольку все моментальное исчезает, нам остается схватить пребывающее в моментальном, т.е. смысл, который, будучи запечатлен, обретает характер пребывания. Смысл, говорит Рикёр, превосходит событие. Сначала – как ноэма говорения. Затем – как «диссоциация буквального смысла текста и внутренней интенции рассказчика при запечатлении дискурса» [Рикёр, 2008, с. 28]. В третий раз – через отсылку к миру в целом или некоему миру. «В устной речи диалог непосредственно относится к ситуации, общей для собеседников. Эта ситуация в некотором смысле окружает диалог. Ее ориентиры могут быть показаны жестом, или на них можно указать пальцем, или обозначить их остенсивным способом самим дискурсом путем косвенной референции...» [Рикёр, 2008, с. 28]. Таким образом Рикер приходит к рассуждению о неостенсивной референции. Подобно тому, говорит он, как записанный текст освобождается от ситуационных интенций говорящего, он «освобождает свою референцию от ограничений остенсивной референции. Для нас мир – это совокупность референций, открываемых текстами» [Рикёр, 2008, с. 28].

В этом месте у Рикёра появляются важные понятия, своим происхождением обязанные философской биологии, а позже получившие хождение в немецкой философской антропологии, феноменологической социологии и экзистенц-философии. Это понятия «окружающего мира» (Umwelt) и «мира» (Welt). Мы можем, следуя Рикёру, представить себе следующую триаду: ситуация – окружающий мир – мир. Ситуация столь же моментальна, как и дискурс, Umwelt – это референт дискурса, Welt происходит из Umwelt, представляя собой «проекцию мира из конкретной ситуации» [Рикёр, 2008, с. 42]. Вопрос, на который здесь не так легко ответить, заключается в том, различает ли Рикёр ситуацию и Umwelt. «Тексты, которые мы читаем, понимаем и любим, отсылают не к Umwelt остенсивных референций диалога, а к Welt, проектируемому неостенсивными референциями» [Рикёр, 2008, с. 42].

Однако «Umwelt» и «остенсия» – понятия из разных философских словарей²³. Чтобы их связать между собой, нужна была заметная предварительная работа. При этом сопряжение (без внятного различения) «ситуации» и «Umwelt», а также различение «Umwelt» и «Welt» как

²² Заметим попутно, что смысл этого события как события тоже может быть фиксирован, если будет запечатлен как смысл события наблюдения за говорением. К этому мы еще вернемся.

²³ На это обстоятельство недостаточно обращают внимание исследователи, вдохновленные герменевтической программой Рикёра [Ср., напр.: Packer, 2011, p. 117].

областей остенсивной и неостенсивной референций – решения, имеющие далеко идущие следствия, если принять в расчет историко-философский фон этого рассуждения. Прежде всего, следовало бы задать вопрос о возможности полного отождествления Umwelt с областью остенсивных референций. Давно известны возражения против того, что можно было бы назвать простым «указанием на» («элементарной остенсией»), при котором не важны ни история, ни контекст указывания, ни уточнения и дополнения²⁴. Рикёр изначально не только не ставит это под сомнение, но как раз исходит из *остенсивных референций диалога*. В ситуации диалога «остенсия» не может быть в строгом смысле слова точечным указанием на вещь или обстоятельство, тем более – на одну только черту или свойство вещи или характеристику обстоятельств. Это именно согласованная моментальная тематизация событий и обстоятельств диалога.

Воспользуемся классическим примером из *Lectures on Conversation* Харви Сакса, чтобы прояснить суть дела. Сакс предлагает анализировать следующую ситуацию:

«Миссис Дикс повернулась к мужу и дружелюбно, но притом явно командирским тоном требует передать кое-что с другого края стола. Мистер Дикс поворачивается к жене, теперь они – лицом-к-лицу. – “Пожалуйста,” – напоминает он, и в голосе его слышен легкий упрек. – “Пожалуйста,” – повторяет она. Она растягивает слово, как бы для того, чтобы показать: ей не нравится, что ее поправляют, – и вместе с тем, таким тоном, который указывает на ее готовность признать: это необходимо» [Sacks, 1992, p. 657]. Но что, продолжает Сакс, мы получим при простой записи разговора (речь идет именно о письменной записи)? – Примерно, такой обмен репликами:

А: Передай соль.

В: Пожалуйста.

А: Пожалуйста –
и В передает соль.

(Предполагается, что запись делал наблюдатель.) Дело тут в следующем. Высказывание «передай соль» могло бы считаться вполне завершенным высказыванием, т.е. на нем и разговор мог бы считаться завершенным. Но это не так: пока не состоялось локализованное и *релевантное в данной секвенции* действие («*ocated sequentially relevant action*»), т.е. пока действие не завершено, *не завершено и высказывание* [Sacks, 1992, p. 657]. Теперь, если представить себе, что миссис Дикс еще менее вежлива, мы уберем из этой записи глагол, так что понимание происходящего на основе одного только записанного обмена репликами станет еще труднее:

А: Соль.

В: Пожалуйста.

А: Пожалуйста.

При такой записи теряется все, что есть в живом ходе событий, к которым относятся и сам разговор, и действия, им предполагаемые. Остается лишь поставить вопрос о статусе такой записи, т.е. о характере текста. До известной степени правы те, кто, цитируя Рикёра, говорит, что понять транскриптинтервью – значит получить доступ к тому способу бытия в мире, который открывается неостенсивными референциями текста [Packer, 2011, p. 119]. То же самое, с соответствующими изменениями, относится и к записям наблюдений и т.п.²⁵

Все так, но что с остенсивной референцией? Здесь есть предмет, на который указывают, а именно соль. Однако здесь нет ни глаголов в личной форме, ни обстоятельств времени и

²⁴ В свое время У.В.О. Куайн, рассматривая вопрос об остенсивном научении и отталкиваясь от § 33–38 и § 454 «Философских исследований» Л. Витгенштейна, показал важность *общего контекста* указывания [см.: Quine, 1968, P. 185–112; Quine, 1973, p. 44 f].

²⁵ «...Не следует забывать, что все начинается не с архивов, а со свидетельства, и что, при всей принципиальной недостаточности его надежности, в конечном счете у нас нет доказательства, что нечто произошло, чему, как уверяет кто-то, он был лично свидетелем...» [Рикёр, 2004, с. 204]. Притом что в науке речь идет о методически контролируемом опыте наблюдения, иногда, как известно, приходится именно сопоставлять показания живых свидетелей. То, что в основании знания всегда находится живой опыт, далеко не всегда учитывается социологами.

места. Нам нужно было бы указание на событие действия, а не на предмет – солонку, – но как раз события действия здесь и нет, причем нет ни в живом диалоге, ни тем более в его записи. Нам нужно было бы понять личную отнесенность высказывания – но здесь она сведена к минимуму, так называемому *turn-taking* (очередности) в разговоре. И если для того, чтобы понять «действие как текст», нам нужно определиться с пониманием мира как областью неостенсивных референций, то можем ли мы говорить о нем, не разобравшись с остенсивными референциями? Попытки определить остенсивные референции наталкиваются на сложности вполне определенного свойства, но может ли это иметь последствия для определения неостенсивных референций? Даже речь без места, времени и личных местоимений может быть ситуационно вполне адекватна, однако сделать вывод об остенсивной функции высказываний на основании точных, но скудных документов мы не можем – мы можем строить лишь более или менее вероятные предположения относительно того, что там было «на самом деле». Но и сам наш текст имеет ту же природу – это не действительность моментально свершившегося, а пребывание смысла, запечатленного на письме. В конечном счете, как исследователи, мы имеем дело лишь с неостенсивными референциями.

А вот как обстоит дело с понятием «*Umwelt*». Можно ли приравнивать *Umwelt* к ситуации? Здесь нам понадобится небольшой экскурс, прежде всего, к авторам, так или иначе важным для Рикёра. Напомним, что в первом своем, теоретико-биологическом значении *Umwelt* – это не просто существующее в данный момент окружение, но область того, что значимо в мире для живого организма. Процитируем – в данном случае ретроспектива с точки зрения герменевтической традиции будет наиболее уместна – важное разъяснение Г.-Г. Гадамера. Понятие «*Umwelt*», говорит он, сначала использовалось лишь применительно к окружающему миру человека, той общественной среде, в которой он находится. Однако в более широком смысле могут говорить затем об *Umwelt* всех живых существ, поскольку они зависят от своей среды. Но живые существа в свой окружающий мир плотно заключены (*eingelassen*), потому что от него зависит их существование, у человека же есть *Welt* (мир), а по отношению к *Umwelt* он свободен. Конституция человека как существа, у которого есть язык, радикально меняет его отношение к окружающему миру и открывает мир. Человек возвышается над *Umwelt*, а язык есть «свободная и изменчивая возможность» по-разному высказываться об одной и той же вещи [Gadamer, 1999, p. 447–449]. В немецкой философской антропологии считалось (и об этом также упоминает Гадамер), что ситуация может меняться, а *Umwelt* останется прежней, как генерализация всех возможных для данного живого существа ситуаций. С точки зрения классиков философской антропологии (М. Шелера, Х. Плеснера и А. Гелена)²⁶, у человека в этом смысле нет *Umwelt*, он открыт миру, *Welt*. Философская антропология развивалась под значительным влиянием Гуссерля. Для Гуссерля же мир – это «универсум сущего» (*Allheit des Seienden*). У каждой постигаемой на опыте вещи есть горизонт сопутствующих объектов (внешний горизонт продолжающегося опыта, предельным образом – возможный опыт всего реального [Husserl, 1975, p. 25 ff]). Строго говоря, в таком случае «мир» соответствует трансцендентальному, чистому Эго как поток его «когитаций» [Husserl, 1987, p. 23]. Если же перейти от «монады» Я к интерсубъективной «общности монад», то у такой общности будет свой мир, и эти миры будут «окружающими мирами» таких интерсубъективностей, т.е. аспектами общего им единого объективного мира [Husserl, 1987, p. 143]²⁷.

Наконец, у Хайдеггера – если мы останемся в рамках, так или иначе задаваемых феноменологией, т.е. ограничиваемся сравнительно ранними его текстами, которые создаются одновременно с большинством важнейших текстов немецкой философской антропологии и

²⁶ См. хотя бы у Хельмута Плеснера, самым подробным образом разбирающего понятие *Umwelt*: [Plessner, 1975. S. 247 ff.] Ср. также у Арнольда Гелена [Gehlen, 1993, S. 79 ff].

²⁷ Это связано с пониманием телесности человека, но мир, получающийся таким образом, – мир вещей, но не живых личностей, говорит Рикёр. См. об этом ниже.

в полемике с ними, – мы тоже находим важные разъяснения. Фактическая жизнь, *Dasein*, говорит Хайдеггер в «Лекциях о фактичности», означает бытие в мире, но как представить это наглядно? Традиционно рассуждают так: вот есть материальная вещь, например стол, и она, как пространственная вещь, могла бы восприниматься в разных аспектах или отсылать к другим вещам вокруг (таков, заметим, собственно феноменологический взгляд); но почему здесь появился этот стол и почему он вообще важен для нас? Стол есть здесь как таковой в силу множества обстоятельств. Все то, на что мы обращаем внимание, принимаем в расчет, имеем в виду, не отделено от него, это именно то, что и составляет его определенность. Вещь такова лишь в силу *озабоченности*, т.е. когда мы ею озаботились и о ней *позаботились*, обеспечили себя ею, так что она теперь у нас в распоряжении. «Вокруг» («um») – имеет отношение не к геометрической связи, оно есть «вокруг озабочивающегося обхождения с миром» [Heidegger, 1988, S. 101–102]²⁸. «Озабочивание», говорит Хайдеггер уже в «Бытии и времени», – это экзистенциал, онтологический термин для обозначения бытия возможного бытия-в-мире [Heidegger, 2006, S. 57; Хайдеггер, 1997, с. 57]. Озаботиться может лишь человек (в терминологии «Бытия и времени» – *Dasein*), а у него есть свое бытие-в-пространстве, которое возможно лишь на основе бытия-в-мире вообще [Heidegger, 2006, S. 56; Хайдеггер, 1997, с. 56], поэтому мир неотъемлем от *Dasein*, и все разговоры о том, что у человека есть (по-немецки – *человек имеет*) *Umwelt*, должны быть приостановлены, покуда неясно, что это вообще значит – «иметь мир» и что такое вообще мир. Перечисляя значения слова «мир», Хайдеггер выделяет далее четыре основных. 1. Мир как универсум сущего. 2. Мир как бытие сущего, названного в пункте 1. (Допустим, что это – мир вещей – в самом широком смысле слова.) Но человек – не вещь среди вещей, не сущее, подобное прочим сущим. Отсюда – пункт 3: человек, *Dasein*, тоже «в мире». Тогда этот мир – мир, «в котором» *Dasein*. (Прежняя философия назвала бы его миром человека.) А поскольку это мир не одного, «вот этого» человека, можно говорить о публичном («öffentlich») мире, «мы-мире», ближайшем окружающем мире (*Umwelt*) [Heidegger, 2006, S. 64–65; Хайдеггер, 1997, с. 64–65]²⁹.

«Мне кажется, – откликается Рикёр, – что в хайдеггеровском дискурсе о заботе не отведено место для совсем особого экзистенциала – плоти, одушевленного тела, моего тела, – который Гуссерль начал разрабатывать в своих последних трудах, придерживаясь линии пятого “Картезианского размышления”... Но категория плоти предполагает известное преодоление логической пропасти, вырытой герменевтикой *Dasein* между экзистенциалами, сосредоточенными вокруг заботы как своего ядра, и категориями, в которых артикулируются модусы бытия вещей наличных и подручных» [Рикёр, 2004, с. 484]³⁰. Мы можем интерпретировать это таким образом, что, не опознавая в *Dasein* живую плоть, Хайдеггер не опознает в предметах заботы специфический состав *Umwelt*. То, что обозначается понятием «*Umwelt*», имеет некое отношение к пространственному прилеганию близких человеку вещей, но вещественность и пространственность эти могут толковаться по-разному. Между тем совершаемое человеком действие ближайшим образом осуществляется именно через сподручное в среде *Umwelt*.

Но как быть с ситуацией?

Вот пояснения Рикёра: «Понять текст означает оживить нашу собственную ситуацию или, если хотите, вставить между предикатами нашей ситуации все обозначения, создающие *Welt* из нашего *Umwelt*. Именно это расширение границ *Umwelt* до горизонтов *Welt* позво-

²⁸ Это имеет прямое отношение к проблематике переосмысления *фронесиса* у раннего Хайдеггера [см.: Bernasconi, 1989, 28 supp., p. 127–47; Gadamer, 1999, S. 319, 322]. Своего рода возвращение к фронесису оказывается впоследствии необходимым шагом и для Рикёра. Однако *практическая мудрость* имеет дело не с универсумом, но именно с обозримым миром *Umwelt*.

²⁹ В пункте 4 Хайдеггер говорит о том, что делает мир миром, – это «мирность», понятие же мира резервируется за значением, показанным в пункте 3.

³⁰ Ср. аналогичный упрек Хайдеггеру со стороны Плеснера [Plessner, 1975, S. XIII].

ляет нам рассуждать о референциях, открываемых текстом. Пожалуй, лучше будет сказать, что референции открывают мир. Здесь вновь подлинно духовный характер дискурса обнаруживается в письме, которое освобождает нас от визуальности и ограниченности ситуаций, раскрывая перед нами мир, новые измерения нашего бытия-в-мире» [Рикёр, 2008, с. 28–29]. Итак, мир открывается всякий раз, когда речь заходит о смысле, потому что смысл как таковой *уже* превосходит ограниченную фактичность. Какой бы аспект смысла ни был тематизирован, он в конечном счете предполагает мир. Мир может быть эксплицирован из любого смыслового проекта – каким бы узким, локальным он ни был: Welt – это то, к чему мы, возможно, *торопимся* перейти, потому что особенности Umwelt снимаются универсальностью мира. Но у нас сохраняются шансы задержаться на одной из ступеней, не стремиться исчерпать *все* предикаты. Вопрос лишь в том, где мы решим остановиться.

Говоря о записи свидетельств, Рикёр делает акцент на «экстериорности», пространственном характере записанного. «Вначале мы имеем дело с пространственностью телесной и пространственностью окружающей, неотделимой от вызываемого в памяти воспоминания» [Рикёр, 2004, с. 206], затем через коллективную память переходим к «местам памяти», а через концептуализацию места возвращаемся снова к телу – человеческому телу, которое ориентировано в пространстве, которое прежде всего есть пространство проживания, а уже потом – геометрическое. Место «Umwelt» должно быть где-то здесь. Собственно, вот оно: «Сконструированное пространство, будь то пространство, фиксирующее место проживания, или пространство, предназначенное для передвижения, в любом случае представляет собой систему местоположений для важнейших жизненных интеракций. Рассказ и строение осуществляют один и тот же вид записи, первый – во временной протяженности, второй – в твердости материала» [Рикёр, 2004, с. 209]. Однако запись, как мы видели, преодолевает моментальность происходящего, происходящее же – это событие действия и взаимодействия в ситуации оstenсивных референций. Применительно к нему говорят о свидетельстве, и только благодаря свидетельству событие становится фактом³¹. Сама фактичность преходящего, понимаемая как моментальность, – это смысловая характеристика, в пределе развертывающаяся в «мир». Но невозможно обойтись без утверждения, что то, что совершается, то, что имеет место «на самом деле», – это именно событие, сущее как таковое до записи и соотнесенное прямо с иными событиями, даже если некому это засвидетельствовать. Ближайшее в пространственном соположении и временном следовании окружает событие, но это не окружающий мир. Окружающим миром это оказывается тогда, когда мы выходим за пределы ситуативного, в область устойчивых записанных смыслов.

II

Посмотрим на дело с другой стороны. Действие есть событие, совершающееся в мире. Но мало знать об этом в принципе. Чтобы поставить вопрос о понимании события действия по модели текста, надо сначала решить вопрос о наблюдении события действия, а это, в свою очередь, возможно двумя способами. Можно начинать с проблематики действия и потом концептуализировать действие как событие. Но можно начинать с понятия события и потом специфицировать событие как событие действия. Последствия теоретического решения будут очень разниться между собой.

Начнем с концептуализации события. Наблюдение предшествует пониманию³², а представление социальной жизни как множества социальных событий означает, что наблюдение

³¹ «Факт – не событие, в него самого вдохнуло жизнь свидетельствующее сознание...» [Рикёр, 2004, с. 251].

³² Ниже в сжатом виде изложены результаты теоретической работы над понятием социального события, которой я посвятил несколько лет. Несмотря на существенные коррективы, до сих пор наиболее полным изложением этого подхода остается

событий является базовой операцией, лежащей в основе всякого знания о социальном. В социологии существует длительная, черпающая ресурсы из нескольких философских источников традиция концептуализации социального как событийного. В эту традицию могут быть включены и результаты Рикёра. Однако следует показать сначала, как выглядит теоретическая социология социальных событий, хотя бы в части самых начальных определений³³.

Теперь дадим некоторые определения и пояснения к ним. Говоря о событии как элементе социальности, мы без дальнейших обоснований выбираем основную интуицию наших описаний социальности: это интуиция социального как дискретного. Тем самым отнюдь не утверждается особого рода онтология социальности. Мы говорим лишь о том, как она может быть дана научному мышлению, оперирующему четкими и, по возможности, однозначными понятиями.

Определение. Событием будет называться смысловой комплекс, означающий соотносительное акту наблюдения единство³⁴. В этот смысловой комплекс входит *свершение в пространстве и времени*. Событие идентифицируется наблюдателем как нечто *совершающееся* (т.е. происходящее) и *свершающееся* (т.е. имеющее внятную для наблюдателя завершенность, позволяющую отделять его от прочих событий). Единству времени, в течение которого событие сохраняет свою тождественность (момент совершения события), соответствует единство пространства (место совершения события). Как время, так и пространство события идентифицируются в некоторой системе координат или в рамках взаимосвязанной совокупности однородных моментов и мест.

Акцент в этой формулировке сделан на *элементарном характере* события. Главное в событии – его моментальность и, в силу моментальности, неразложимость. Моментальность может означать неразложимое единство времени события. Элементарность может означать далее неразложимую определенность события, т.е. отсутствие у него частей, однородных ему, как во времени, так и в пространстве.

Понятие элемента не тождественно понятию части. Часть соотносительна с целым, может быть уменьшенным целым, т.е. содержать в себе части. Элемент принципиально неразложим и соотносится не с целым, но с системой, структурой, процессом, сетью или, как мы будем говорить ниже, фигурацией. Анализ элемента мог бы показать его составляющие, но в системе он неразложим и не поддается анализу. Иначе говоря, аналитика элемента предполагает смену модуса внимания, при этом теряется из виду тот контекст, который только и представлял интерес при описании элементного состава релевантных объектов наблюдения. Элемент соответствует элементарному акту аналитического наблюдения. Поэтому элемент не имеет меньших, однородных ему частей. Наблюдению может также соответствовать «переживание целостности». В этом последнем случае целое не членится на части, но не является элементом. Целое не членится на части, поскольку наблюдаемое релевантно как таковое, безотносительно к внешним и внутренним взаимосвязям. Элемент не членится на части, поскольку он релевантен безотносительно к внутренним связям, но не безотносительно к внешним. Элемент – это элемент в системе, структуре или процессе. Элементарному акту наблюдения соответствует элементарное событие; и то и другое неразложимы, но, кроме того, и то и другое встроены в нечто более обширное, не переживаемое как неразложимая целостность. Это «более обширное» можно аналитически разъять не просто на далее делимые части, но именно на неразложимые эле-

первая публикация [Филиппов, 2004].

³³ Одним из обширных теоретических проектов, предлагающих своеобразную концепцию событий, является социология Никласа Лумана. Элементами социальных систем, по Луману, являются *события коммуникаций*, которые наблюдаются как события действий [см. прежде всего: Luhmann, 1984]. Я критически отношусь к социологии Лумана, прежде всего потому, что в ней не учитывается значение пространства. Кроме того, Луман не желал видеть, что имеются иные возможности фигурации событий, которые не предполагают ни систем, ни структур.

³⁴ У Рикёра парой понятий «событие – наблюдение» соответствует пара «событие – свидетельство». Вопрос о том, толковать ли наблюдение как свидетельство, является ключевым, но обычно не рассматривается.

менты. Есть, однако, особая категория событий, которые можно назвать *абсолютными событиями*. Абсолютные события соединяют в себе несколько противоречивых определений, и по отношению к ним различие интуиции целого и наблюдения события должно быть проведено иначе.

Элементарность события во временном аспекте связана с его моментальным характером. Событие нельзя разложить на составляющие, потому что оно прошло, состоялось. Уже одно то, что мы способны его фиксировать, говорит о завершении. Напротив, меняющееся, не завершённое мы готовы разлагать на моментальные события.

Пространственное и временное единство события. Если мы сосредоточиваемся на элементарном событии наблюдения, то *единству вещи*, которая идентифицирована нами как пространственная вещь, будет соответствовать в нашей аналитике событие наблюдения некоторого *места*. Точно так же и временная последовательность может быть разложена на мельчайшие *длительности*, которые, сколь бы далеко мы ни зашли в своей аналитике, никогда не потеряют характер *интервала*.

Длительность и моментальность. Событие есть смысловое единство, а не коррелят различительной способности. Мгновение не просто интерпретируется как интервал. Напротив, длительность квалифицируется как мгновение, и лишь затем, на следующем круге рассуждения, изначальная продолжительность того, что в интерпретации было сжато до качества мгновения, вновь обнаружило свою протяженность. Однако оборотной стороной такого подхода становится потеря главного квалифицирующего признака моментальности как предельной сжатости. Можем ли мы теперь сказать, что событие есть смысловое единство, *элементарное безотносительно* к объективно (т.е. не заинтересованно применительно к смысловому содержанию) замеряемой длительности? Эта решительная позиция напрашивается сама собой. Но какие следствия она влечет?

Событие во временных рядах. Временной характер события предполагает различие «прежде» и «после». Событие происходит, собственно, в интервале между «событием-прежде» и «событием-после», которые не могут принадлежать длительности события, потому что оно, по определению, не включает иные события. Однако, будучи не мгновенным, но длительным, оно предполагает возможность различения «прежде» и «после» в нем самом. Приведем пример. Камень упал с крыши. До падения он лежал на крыше. После падения лежит на земле. Событие «упал с крыши» предполагает не только ограниченное время падения, нахождения без опоры в воздухе (такое описание падения годилось бы для события «падал»). Оно предполагает начало: мгновение пребывания на крыше перед началом падения и мгновение пребывания на земле, когда падение завершилось. И вместе с тем пребывание на крыше, безотносительно к сразу вслед за тем начинающемуся падению, равно как и пребывание на земле, безотносительно к только что завершившемуся, – это «прежде» и «после», не относящиеся к событию. Поэтому «упал» означает сложную пространственно-временную взаимосвязь. Событие имеет парадоксальный характер. Оно не может не иметь длительности, но его длительность не рассматривается как полноценная временная протяженность, пока нас интересует именно элементарный характер того, что мы вычленим.

Более строгие рассуждения возможны только при отказе от принципа индивидуальности события как *основного* аспекта описаний. *Элементарность может быть фиксирована у повторяющихся событий, а уникальность преходящего момента сама по себе не переносится на смысловые характеристики события.* Эти рассуждения оказываются в высшей степени проблематичными, когда мы говорим о событии-действии. Мы должны отказать событию в индивидуальности, но какому событию? Любому, в том числе и событию действия, скажем мы, потому что события, какими их описывает социальная наука (в широком смысле слова, т.е. целый комплекс наук, а не одна только социология), лишены индивидуальности, причем не только пространственно-временной, о чем уже сказано выше, но и персональной. Статистика

социальных событий – это, конечно, лишь крайнее выражение их радикальной обезличенности для наблюдателя, оперирующего соответствующими различиями. Однако мы и в повседневном опыте знаем о *заменяемости* тех, кто совершает рутинные операции. Нам все равно, кто именно выдаст нам оплаченный товар, перенесет посылку с весов на транспортер, в конце концов, проведет автобус по регулярному маршруту. Повторяемость, ограничение возможностей для выбора, для личного решения явными или неявными правилами (включая «правила игры», не столько предписывающие конкретные поступки, сколько определяющие зоны допустимого и недопустимого поведения) – все это так или иначе означает для наблюдателя необязательность и даже полную ненужность вменения. Но там, где нет вменения, – нет ответственности. Может ли примириться с этим философия действия?

III

Обратим внимание на то, что и наблюдаемое событие, и событие наблюдения отсылают нас к иным событиям. Следовательно, с самого начала надо мыслить *несколько событий*, включая события наблюдения. Допустим, совершаются действия. Допустим, мы сразу скажем, что вменение действий (*кто* действия) не имеет значения. Но ведь чтобы говорить о совершении действия, нужен наблюдатель, т.е. тот, кто не совершает действия. Так происходит первая атрибуция: тот, кто наблюдает, знает, что наблюдаемое действие совершил не он, а кто-то другой. Но откуда известно, что он – наблюдатель? Здесь нужна вторая атрибуция: наблюдение как событие наблюдает другой наблюдатель. Будет ли это – физически – тот же самый, кто совершил наблюдаемое первым наблюдателем действие, или еще кто-то, не все равно: логически лишь *третий* наблюдатель может установить одновременность (или неодновременность) событий действия и наблюдения за действием. Разумеется, это заставляет, в свою очередь, поставить вопрос об этом третьем наблюдении и наблюдателе в той же плоскости. Возможно, что мы застаем очень простую ситуацию, где действуют лишь двое: тогда «мы» и суть тот самый третий наблюдатель. Возможно, мы застаем ситуацию, где действует один. Тогда мы суть второй, тот, кто наблюдает. Мы можем охарактеризовать свою позицию как позицию наблюдения, лишь заняв третью, эксцентрическую, в терминологии Плеснера и Гелена, позицию. Таким образом, никакое событие не может мыслиться в качестве сингулярного, если не отмыслить от него событие наблюдения. Множественные наблюдения являются делом нескольких наблюдателей, причем их наблюдения *одновременны*, а одновременность устанавливается лишь наблюдением, которое, в свою очередь, может быть фиксировано в своей одновременности с другими событиями (наблюдаемыми событиями и событиями наблюдения) только в акте наблюдения. *Событие может быть наблюдаемо лишь в некоторой связи с иными событиями, а наблюдение события может состояться лишь в связи с иными операциями наблюдения.* Именно в этом месте мы можем совершить решительный шаг.

Откуда, собственно, берется «событие как коррелят наблюдения»? Существуют абсолютные события (события рождения и смерти, основания, сакральные события). Особенность абсолютных событий в том, что они как бы навязывают себя наблюдению и наблюдателю. Но что если речь идет о событиях, не подпадающих под эти категории? Не получается ли так, что именно наблюдатель – последняя инстанция, так что справедливым будет утверждение: «Нет события наблюдения, нет наблюдения без различения, нет различения без мотива». Мотив – это основание различения, «почему»-различения и – таким образом – «почему»-события. Исследуем эту сторону дела несколько подробнее. Оpozнание последствий своих действий, при более тщательном рассмотрении, оказывается не таким простым делом. Ведь цепочка следствий продлевается во времени и пространстве, и каждое событие, индуцируя следующее за ним событие, делает также и его в некотором роде нашим действием. Например, открыв окно, кто-то намеревался лишь проветрить комнату, но порыв ветра разметал бумаги, так что оказа-

лось невозможно вовремя найти важный документ, а это, в свою очередь, поставило под угрозу осуществление некоторых договоренностей. Обычная ситуация влечет за собой также обычное вменение: из-за тебя, могут сказать тому, кто открыл окно, сорвалась сделка. Или даже так: ты сорвал сделку. Здесь наложились наблюдения и ожидания разных наблюдателей. Тот, кто открывал окно, не просто перемещал задвижку и двигал раму. Он ожидал, что воздух с улицы смешается с воздухом комнаты, он, если спросить его о смысле его действия, проветривал комнату, а не просто открывал окно. С точки зрения другого наблюдателя, однако, он «устроил сквозняк» и «потерял документы». Эта точка зрения может быть навязана действующему, он может признать, что документы потерял он, именно потому, что не принял во внимание возможность тех событий, которые и привели к такому результату. Он может также в ретроспективе, описывая события этого дня, сказать: «В тот день я потерял важные документы». Таким образом, ситуация, известная нам прежде всего как ситуация переописания событий, получает иное измерение. Открывая окно, действующий поступает интенционально³⁵. Он не отделяет намерение от цепочки результатов, не дифференцирует свои перемещения по комнате, движения руки, поворот задвижки, изменения положения рамы и, как результат, дуновение свежего воздуха. Он намерен открыть окно, он открыл окно, чтобы проветрить комнату, он, собственно, проветрил комнату, но так получилось, что ветер смешал бумаги. Итак, в действие, совершенное им, с самого начала заложен смысл порядка, альтерации которого он в перспективе готов опознать как свои действия, а в ретроспективе распознает как таковые и более длинные цепочки событий.

Откуда взялось такое описание? В нем присутствуют «вещи», то, что с ними «происходит» (события), «действующий», который «намеревается», и еще к тому же предполагаемый наблюдатель, который может «вменить вину». Иначе говоря, здесь снова появляются такие элементы повествования, которые упоминались в первом разделе в связи с остенсивными референциями. Здесь внятно видны возможности двух стратегий описания: одна была показана выше, и она состояла именно в том, чтобы избежать любых намеков на вменение. Совершение действия действующим – это такое же событие в мире, каким оказался порыв ветра и полет поднятых им бумаг. Совершение действия в мире возможно потому, что действующий – одна из вещей мира³⁶. Однако первые же шаги описания имеют обязывающий характер, поскольку описание сопровождается приписыванием (действия кому-либо): «Приписывание есть то, что совершается любым, каждого, кем-либо, относительно любого, каждого, кого-либо» [Ricoeur, 1992, p. 35]. Если бы этого не было, в аналитике события мы бы почти неизбежно пришли к онтологии события, так или иначе приближающейся к той, что отстаивал Д. Дэвидсон: действия суть события и от прочих событий отличаются только тем, что совершаются преднамеренно [Davidson, 1980]. Рикёр же выступает против трактовки действий как безличных событий. Тонкое различие между преднамеренным действием (адвербиальная форма, «намеренно») и действием «с намерением-на» (совершение того-то или того-то) – это разные семантики и разные онтологии действия [Ricoeur, 1992, p. 78 ff, 81 ff]. Онтология событий того рода, что предлагает Дэвидсон, неизбежно обречена на утрату *агента*, т.е. того, *чья* это события-действия. Действие в такой онтологии невозможно *вменить*, и противопоставить ей можно только онтологию бытия-в-делании [Ricoeur, 1992, p. 86].

³⁵ О непредвиденных последствиях интенциональных действий и его контрфинальности [см.: Баньковская, 2011]. К вопросу о вменении мы еще вернемся в конце этой статьи.

³⁶ «Нельзя, конечно, чтобы нас вводило в заблуждение использование слова “вещь”, когда мы говорим о личностях как базовых партикуляриях», – пишет Рикёр, разбирая аргументацию П. Стросона. Тождественность вещи – не то же, что самость индивида, между тем индивиды (*мы сами*) принадлежат к той самой пространственно-временной схеме, что и вещи [см.: Ricoeur, 1992, p. 33].

«Вобратить обратно» агента в описание событий действия далеко не просто. Одно соображение – впрочем, давно и хорошо разработанное³⁷ – напрашивается с самого начала. Тот, кто действует вменяемым образом, действует в сложных обстоятельствах. Сам по себе вопрос о вменении непростой, говорит Рикёр, и его нельзя представлять себе так, что вменение – это «сильная» форма того, что в слабой форме называется приписыванием (атрибуцией) действия. Во-первых, в случае юридического или морального вменения речь идет о сложных цепочках действий, а не о тех банальных случаях, когда личный характер действия удостоверяется простой грамматической формой. Во-вторых, вменение действия предполагает процедуру обвинения, у которой свои правила. В-третьих, предполагается, что агент обладает «способностью действия», устанавливающей каузальную связь между личностью и деянием [Ricoeur, 1992, p. 100 f]. Когда речь идет о сложных практиках, переплетения событий, так сказать, системно-безличного характера, и телеологически рассматриваемых событий действия, вытекающих из вменяемого решения, можно исходить из того, что «агент способен учесть эффекты причинения для обстоятельств принятия решения, тогда как, в свою очередь, преднамеренные или непреднамеренные следствия интенциональных действий окажутся новыми обстоятельствами, которые влекут за собой новые каузальные ряды» [Ricoeur, 1992, p. 153]. Разумеется, «новыми обстоятельствами» могут оказаться и действия других людей – в ответ на действия самого агента, так что знаменитое определение Макса Вебера³⁸ можно рассматривать и как социологическое описание сочетания интенционального и «системного», и как место перехода к этической проблематике. Оpozнание действующим собственных действий и планирование их могут происходить в различных областях по-разному и с учетом действующих там «правил игры». Но самое главное состоит в следующем: «практическое поле», как называет его Рикёр, формируется соответственно двум, встречно направленным движениям: «снизу вверх» – от простейших действий ко все большему усложнению, и «сверху вниз», путем «спецификации», «начиная от смутного и подвижного горизонта идеалов и проектов, в свете которых человеческая жизнь постигает себя самое в своей уникальности (openess)» [Ricoeur, 1992, p. 158].

Таким образом, мы возвращаемся к теме, которую рассматривали в начале. «Смутный и подвижный горизонт идеалов и проектов» – это и есть тот самый мир неостенсивных референций, о котором шла речь. Как мы это истолковываем? Попробуем пройти весь путь с начала до конца, но пока что лишь в одном направлении и делая акцент более на теории событий в ее социологическом преломлении, нежели на собственно философской проблематике. Итак, различение события позволяет наблюдателю опознать в событии личное действие агента или – как мы еще можем его назвать – *действующего*. Личное действие – это такое, которое приписывается ему, т.е. такое, по поводу которого наблюдатель, *мотивированно* не удовлетворяясь вопросом «что?», задает вопрос «кто?». Но мало этого. Наблюдатель опознает ситуацию как такую, в которой вопрос приписывания оборачивается вопросом о вменении, т.е. о вине³⁹ (отдельным случаем вменения может быть вопрос о заслуге). Но поставить вопрос о вине – значит здесь не просто приписать действие действующему. Надо по-другому описать само действие. Оно, с одной стороны, остается тем элементарным событием, которое и прежде выступало для нас атомом социальности. С другой же стороны, действие получает совершенно новое измерение. Это измерение появляется за счет различения, и вопрос о том, *кто* совершает это

³⁷ Рикёр ожидаемым образом отсылает читателя к работам Э. Энском и Г. фон Вригта.

³⁸ «„Действованием“ будет... называться человеческое поведение (все равно, внешнее или внутреннее делание, воздержание или терпение), если и поскольку действующий или действующие связывают с ним субъективный *смысл*» [Weber, 1985, S. 1].

³⁹ Выше я уже приводил пример такой ситуации: не просто открытое окно, но окно, открытое кем-то, кому в вину затем ставят деловой проступок. Это именно тот случай, когда просто действие становится вмененным действием по логике, не опознаваемой в простом, элементарном «открыл окно».

различение, не менее важен, чем вопрос о том, каковы его основания и конструкция. Тем не менее оставим его сейчас в стороне.

Итак, новое различение. В чем оно состоит? В том, что действие берется как элемент исходящего в более широком временном горизонте, но притом более специфически, как элемент определенной конфигурации действий, которая может быть процессом, системой, цепочкой действий и т.п. Поэтому на вопрос: «Что произошло?» – мы уже не отвечаем: «Окно открыли», но говорим: «Такой-то потерял важные документы: открыл окно и не уследил за ними, когда ветер закрутил бумаги». Цельное действие по-прежнему элементарно, но «что» действия определяется уже по-другому, по результату того первого движения, которое привело к цепочке следствий, в производство которых вмешалась безличная и случайная каузальность природы. Она смешалась с умышленным поступком, но что было преднамеренно сделано? Был ли умысел терять документы? Разумеется, нет, хотя, как мы видели, было (возможно) признание в ретроспективе своей вины. Но это еще полдела.

Пока речь идет о конкретном, прямо определяемом следствии действия, это значит, что само действие переопределяется сообразно результату. Но у этого переопределения есть две стороны. Одна сторона – временная. Проследив цепочки следствий, мы обнаруживаем, что элементарный акт – совсем не то, чем представлялся на первый взгляд⁴⁰. Чем уже временной горизонт, тем более простым видится событие действия. Можно также сказать, что временное оборачивается пространственным. Простое действие ситуативно близко, неотъемлемое от тела действующего, оно совершается в той области, которую в американских переводах Альфреда Шюца называют *the world within immediate reach* – мир в пределах непосредственной досягаемости. Дж.Г. Мид назвал ее *manipulative area* – областью, до которой можно буквально *дотянуться*. Но в первоначальных, немецких текстах Шюца она называется менее определенно, хотя терминологически и более обязывающим образом: *Umwelt* [Schütz, 1981; Schutz, 1964, p. 65 ff].

Вторая сторона – это специфика того поля, если говорить словами Рикёра, или той конфигурации, в которой совершается событие действия. Пространственно-временная близость и удаленность важны лишь частично, потому что здесь вопрос уже стоит не о результате, а о характере действия. Так, врач действительно лечит больного, даже если его лечение не увенчалось успехом [Ricoeur, 1992, p. 154, 178], политик участвует в борьбе, даже если никогда не выигрывает, и т.п. Это принципиальный момент: если рассматривать цепочку действий по модели «причина / следствие», тогда модель «средство / цель» окажется лишь одним из ее подвидов. Тогда и только тогда можно говорить, что цели одни, а результат (как впоследствии и на некотором удалении *оказалось*) другой, т.е. ближайшим образом приписываемые действующему действию оказались средствами для другой цели, даже если субъективно он и не ставил себе эту цель. Опознавая отдаленные результаты как свои собственные, он модифицирует свое поведение, и потому даже простейшие поступки нельзя понять, если не смотреть на отдаленные следствия: они входят в «рефлексивный мониторинг действия», как назвал его Антони Гидденс, как то, что предшествует любому проекту: опознание, признание своей ответственности, воспоминание (или забывание).

Это годится, отмечает Рикёр, размышляя над 6-й книгой «Никомаховой этики» Аристотеля, только для действия, имеющего характер «*tekhne*», но не того, с каким Аристотель связывал *фронесис*. «Конфигурации действия, которые мы называем жизненными планами, происходят из нашего движения взад и вперед между отдаленными идеалами, которые мы должны сделать более точными, и взвешивания преимуществ и недостатков выбора данного жизненного плана на уровне практики» [Ricoeur, 1992, p. 178]. Разумеется, это снова ставит в центр вопрос о «кто» действия, и действующий, выстраивая свою жизнь, обладает «нарра-

⁴⁰ Пример Дэвидсона с вором, которого спугнул включенный хозяином дома свет, стал хрестоматийным и для социологов.

тивной идентичностью», несводимой к моментальному авторству любого действия на любом уровне сложности.

Может ли это считаться удовлетворительным с точки зрения социологии? Неостенсивные референции действия как текста оказываются размытой зоной смысла. Интерпретация этого смысла с точки зрения пространственной достижимости обрекает нас на блуждания между ситуативно и манипулятивно достижимым *для плоти* в фигурациях простейших событий действия и специфически устроенной *Umwelt*, принимаемой в расчет самостью в ее нарративном единстве. Лишь из событий действий того рода возможно развертывание «мира как проекта». Наблюдатель-социолог находится, таким образом, в ситуации выбора: ситуативное описание множества безличных событий, событий действия-без-агента – это не неизбежность. Это выбор различения, с которым стартует наблюдение. Но и простое возвращение социологии на позиции практической философии вряд ли возможно. Речь идет пока что лишь о переописании ее результатов. Сделать это переписание научно-эффективным – в этом и состоит задача.

Список литературы

- Баньковская С.П.* Понятие гетеротопичной среды и экспериментирование с ней как с условием устойчивого нецеленаправленного действия // Социологическое обозрение. – М., 2011. – Т. 10, № 1. – С. 19–33; № 2 – С. 22–24.
- Рикёр П.* Модель текста: осмысленное действие как текст // Социологическое обозрение. – М., 2008. – Т. 7, № 1. – С. 25–44.
- Рикёр П.* Память, история, забвение / Пер. И.И. Блауберг, И.С. Вдовиной, О.И. Мачульской, Г.М. Тавризян. – М.: Издательство гуманитарной литературы, 2004. – 728 с.
- Филиппов А.Ф.* Конструирование прошлого в процессе коммуникации: теоретическая логика социологического подхода // Гуманитарные исследования ИГИТИ. – М.: ГУ-ВШЭ, 2004. – Вып. 5 (12). – 56 с.
- Хайдеггер М.* Бытие и время / Пер. В.В. Бибикина. – М.: Ad Marginem, 1997. – 503 с.
- Bernasconi R.* Heidegger's destruction of phronesis // Southern journal of philosophy. – Memphis, 1989. – 28 supp. – P. 127–147.
- Davidson D.* Essays on actions and events. – Oxford: Clarendon Press, 1980. – 304 p.
- Gadamer H.-G.* Gesammelte Werke. – 6. Aufl. – Tübingen: Mohr (Siebeck), 1999. – Bd. 1: Hermeneutik I. Wahrheit und Methode. Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik. – 495 S.
- Gehlen A.* Der Mensch. Textkritische Edition. Gesamtausgabe Bd. 3.– Frankfurt a.M.: Klostermann, 1993. – Hlbbd. 1. – 196 S.
- Heidegger M.* Gesamtausgabe. Abteilung II. Vorlesungen. – Frankfurt a. M: Klostermann, 1988. – Bd. 63: Ontologie (Hermeneutik der Faktizität). – 116 S.
- Heidegger M.* Sein und Zeit. – 19. Aufl. – Tübingen: Niemeyer, 2006. – 445 S.
- Husserl E.* Cartesianische Meditationen. – 2. Aufl. – Hamburg: Meiner, 1987. – 172 S.
- Husserl E.* Erfahrung und Urtreil. – Hamburg: Meiner, 1975. – 492 S.
- Luhmann N.* Soziale Systeme. Grundriß einer allgemeinen Theorie. – Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1984. – 674 S.
- Packer M.* The science of qualitative research. – Cambridge etc.: Cambridge univ. press, 2011. – 438 p.
- Plessner H.* Die Stufen des Organischen und der Mensch. – 3. Aufl. – Berlin; N.Y.: De Gruyter, 1975. – 400 S.
- Quine W.V.* Ontological relativity // The journal of philosophy. – N.Y., 1968. – Vol. 65, N 7. – P. 185–212.
- Quine W.V.* The roots of reference. – LaSalle, Ill.: Open Court Publishing, 1973. – 171 p.

Ricoeur P. Oneself as another / Translated by Kathleen Blamey. – Chicago: The univ. of Chicago press, 1992. – 363 p.

Sacks H. Lectures on conversation. – Oxford: Blackwell, 1992. – Vol. 1 / Ed. by G. Jefferson with introduction by E.A. Schegloff. – 818 p.

Schutz A. Collected papers. – The Hague: Nijhoff, 1964. – Vol. 2. – 300 p.

Schütz A. Der sinnhafte Aufbau der sozialen Welt. – Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1981. – 341 S.

Weber M. Wirtschaft und Gesellschaft. – 5. Aufl. – Tübingen: Mohr (Siebeck), 1985. – 945 S.

Понимание межкультурного взаимодействия⁴¹

Й. Арнасон

На протяжении прошедшего десятилетия (с середины 1990-х годов. – *Перев.*) и в особенности после сентября 2001 г. необычайную популярность приобрело понятие «столкновение цивилизаций», ставшее практически основной формулой в комментариях о международных делах. Когда возникает вопрос о его идейных источниках, чаще всего упоминается американский политолог Самюэль Хантингтон. Несомненно, он задел чувствительную струну, охарактеризовав цивилизации как предельно широкие общности, а их конфликты как относящиеся скорее к тому, чем мы являемся и должны быть, а не к тому, что мы имеем и хотим иметь. Но он не был первым, кто стал говорить о столкновении цивилизаций; по-видимому, он колебался между различными версиями этой идеи и первоначально у него были сомнения относительно ее применения к новой глобальной констелляции после сентября 2001 г. Исторические основания широко распространенного сегодня идеологического использования понятия цивилизации следует рассмотреть подробно, и конечно же, они не сводятся к западным экспериментам с новыми формами легитимации после окончания «холодной войны». Здесь действует значительно более широкая тенденция.

Но это не является нашей основной темой; мы лишь указываем на современные идеологические течения как индикаторы проблем, которые требуют критического размышления. Одностороннее подчеркивание и алармистский дискурс о «столкновении цивилизаций» процветают в результате невнимания к более фундаментальному вопросу – проблематике межкультурного взаимодействия. Мы используем термин, введенный Б. Нельсоном около 40 лет назад, но, хотя его и следует считать непреходящим вкладом Нельсона в цивилизационный анализ – в том смысле, что он позволяет выделить определенный набор проблем, – этот социолог не в полной мере исследовал данную сферу. Мы не можем также утверждать, что в дальнейшем здесь был достигнут значительный прогресс: цивилизационный анализ в целом является недостаточно развитым направлением социальных исследований, и даже в таком контексте изучение межкультурного взаимодействия остается одним из наименее продвинутых. Следует отметить, что ссылка на «взаимодействие» не подразумевает более бесконфликтного взгляда на исторические события: суть состоит в определении более абстрактного уровня анализа, а не более позитивного способа интеракции. Взаимодействие может включать и действительно включает конфликты. Как мы попытаемся показать, одно из преимуществ использования более общего понятия состоит в том, что оно позволяет нам выделить такие конфликты, которые не укладываются в стандартную версию «столкновения цивилизаций».

Прежде чем перейти к этой линии аргументации, хотелось бы сделать отступление и связать рассматриваемую тему с определенным регионом. Межкультурное взаимодействие широко представлено в истории Индии – в большей степени, чем в других частях мира. Обратимся к трем наиболее значительным эпизодам. Первый из них является самым неуловимым, но о его видимых результатах известно достаточно много, чтобы высказывать более или менее правдоподобные догадки о косвенных последствиях, а также предположения о том, что могло бы произойти, если бы ход истории оказался иным. Мы, конечно же, имеем в виду греко-индийское взаимодействие. Оно началось с одностороннего завоевания, за которым последовали значительные, но не имевшие завершения культурные контакты. Открытие Индии было отражено в работе, которая, вероятно, представляла самую амбициозную после

⁴¹ Arnason J. Understanding intercivilizational encounters // Thesis Eleven. – Thousand Oaks, 2006. – N 86. – P. 39–53. – *Перевод с английского М.В. Масловского.*

Геродота попытку греков понять другую культуру, – имеется в виду «Индика» Мегасфена. Но этот труд был утрачен, и сохранились лишь фрагменты, приводимые другими авторами. Идеи буддизма были изложены на греческом языке – по крайней мере, в нескольких сохранившихся надписях, которых, по-видимому, было больше.

Хотя, по словам В. Хальбфаса, «не было продолжающегося диалога между Индией и эллинским или эллинистическим миром» [Halbfass, 1988, p. 18], несомненно, существовали контакты, столь значительные, что, как пишет Хальбфас, в представлении греков Индия сменила Египет в качестве страны происхождения *par excellence*. Это вновь и вновь порождало предположения относительно более конкретного влияния. В частности, историки философии и религии поднимали вопрос об индийском влиянии на неоплатонизм и гностицизм (Макс Вебер, которого следует здесь упомянуть, не исключал возможность того, что мировоззрение, которое он описывал как «религиозное неприятие мира», могло бы распространиться из Индии на Запад; это может послужить напоминанием тем, кто предпочитает изображать его в качестве сторонника крайнего европоцентризма). Представляется маловероятным, что этот вопрос будет когда-либо разрешен определенным образом, – нам, возможно, следует согласиться, что гипотезы такого рода слишком правдоподобны, чтобы быть немедленно отвергнутыми, но и слишком спекулятивны, чтобы они получили дальнейшее развитие. Но если дело обстоит таким образом, то мы должны также признать неопределенность происхождения некоторых важных компонентов западной традиции.

В Индии это взаимодействие явно оставило менее значительные следы. Общеизвестно, что греческое влияние было важным для буддистского искусства, и представляется очень вероятным, что вторжение Александра Македонского и контакты с его преемниками оказали определенное воздействие на первую кристаллизацию индийского имперского проекта (династии Маурьев); по-видимому, это все, что мы можем здесь сказать. В некоторых более ранних работах по данной теме то, что индийцы сумели быстро и окончательно забыть Александра, упоминается как свидетельство совершенного отсутствия исторического сознания. Эта точка зрения, насколько мы можем судить, уже не поддерживается кем-либо из видных специалистов в данной сфере; но тот факт, что греко-индийское взаимодействие было стерто из индийской культурной памяти, все же озадачивает.

Но о греко-индийском взаимодействии следует сказать несколько больше: как уже упоминалось, помимо его роли в реальной истории, оно стало также источником спекуляций по поводу альтернативной истории. Самый интересный пример этого может быть найден в работе К. Леви-Стросса, а именно в книге «Печальные тропики» [Levi-Strauss, 1997, p. 482–507], которая, возможно, переживет его более строго академические труды. Согласно Леви-Строссу, контакты между греческим миром и Индией означали реальную возможность культурного объединения, что могло повлиять на весь Древний мир. Возникший в результате встречи греческой рациональности и буддийской религиозности мир был бы очень отличным – и, по мнению Леви-Стросса, значительно более привлекательным – по сравнению с реальным миром, где получил преобладание монотеизм. Во времена греко-индийского взаимодействия радикальный монотеизм был все еще маргинальным явлением, но его рост и экспансия – в особенности с распространением ислама как его наиболее радикальной версии – блокировали путь к объединению и создали барьер между Востоком и Западом.

В леви-строссовской версии всемирной истории на ислам, таким образом, возлагается основная вина, но это подводит нас ко второму случаю междивизационного взаимодействия. Многие историки ссылались на индо-исламский мир, например А. Винк [Wink, 1991]. Представляется, что это единственный случай ислама «через дефис»; в других местах существовали тенденции к синкретизму, но, если обратиться к самому очевидному примеру, насколько нам известно, не принято говорить о яванско-исламском мире. Не было двухполюсной структуры, позволяющей использовать такой термин. А на другом конце мира отношения между исла-

мом и его соперником на Иберийском полуострове были слишком непримиримыми, чтобы идея исламско-испанского мира оказалась бы правдоподобной. Там существовали контакты на разных уровнях, происходила трансмиссия важнейших культурных ресурсов от исламской к христианской стороне и, в отличие от Индии, присутствовала третья сторона, а именно политически безвластная, но игравшая значительную культурную роль иудейская диаспора. Но в длительной перспективе важнейшей чертой этой констелляции являлся конфликт между христианскими и мусульманскими державами, который в определенный момент был радикализован в результате идеологического вмешательства высшей духовной власти западного христианства. Реконкиста не может быть отвергнута как миф. Индийский образец сильно отличается, представляя собой конфликтное сосуществование, которое сложно было описать внешним наблюдателям. В своих размышлениях об Индии Октавио Пас отмечает сосуществование ислама и индуизма в качестве исключительного факта и задается вопросом, имеем ли мы дело с двумя религиями в рамках одной цивилизации или двумя цивилизациями на одной территории, приходя к выводу, что этот вопрос не имеет ответа [Paz, 1997]. В действительности собственные комментарии Паса о взаимодействии ислама и индуизма, по-видимому, позволяют дать более определенный ответ. Существуют свидетельства плодотворных контактов во многих сферах, а на уровне религиозной жизни они простираются от соединений индуистского и суфийского мистицизма до наиболее синкретических шагов, когда-либо предпринимавшихся исламским правителем, а именно религиозной политики Акбара в Могольской империи. Наконец, существуют сложные переплетения на локальном и региональном уровнях. Но нет следов всеобъемлющего социокультурного образца, который охватывал бы обе предшествующие формы. Если использовать неприводимое немецкое выражение, нет всеохватывающего гештальта (или, другими словами, нет слияния, образующего новую традицию). На этих основаниях на вопрос Паса можно ответить следующим образом: это был случай двух сосуществовавших и взаимодействовавших цивилизаций, опиравшихся на фундаментально различные религиозные культуры, испытывавших взаимное влияние, но не трансформированных взаимодействием. Несомненно с данным вопросом связан и тот факт, что эти две цивилизации породили два различных проекта политического модерна: конституционную демократию, хотя и с некоторыми особенными чертами, с одной стороны, и неустойчивую смесь теократии и нации-государства – с другой. Следует отметить еще один момент, связанный с индо-исламским взаимодействием. С исламской стороны оно вдохновило уникальную попытку понять чужую культуру – труд Аль Бируни об Индии. Это особенно примечательно, поскольку работа была написана в период наиболее ожесточенного столкновения и не имела продолжения, что, вероятно, в большей мере было связано с внутренней трансформацией исламской цивилизации, чем с какими-либо событиями в Индии.

Остается сказать несколько слов о третьем случае – взаимодействии с Западом, представленным британским правлением в Индии. Это был во многих отношениях один из наиболее значительных эпизодов в истории западной экспансии – даже по продолжительности с ним сопоставимы лишь испано-португальское владычество в Южной Америке и голландское правление на части островов Юго-Восточной Азии. Но в первом из этих двух случаев новый вариант европейской цивилизации создавался на руинах эндогенных цивилизаций, а во втором – не было сравнимого взаимодействия с местным культурным контекстом. Долгосрочным результатом британского правления в Индии стал вариант модерна, для которого были в равной степени значимы западные и индийские источники. Для Европы это влияние было гораздо менее существенным; но на уровне идей открытие Индии стало, как показал Хальбфас, частью истории западного самопознания; хотя колониальный контекст повлиял на восприятие и интерпретацию индийского мира, это открытие имело собственную динамику, не сводимую к властным структурам или стратегическим интересам.

Взаимодействие Индии с Европой являлось уникальным – в том смысле, что ни одна другая цивилизация, сопоставимая по оригинальности и сложности, не имела столь же длительного опыта прямого европейского правления. С учетом этих оснований постколониальные подходы могут претендовать на значимость и легитимность, которой не обладают иные направления с приставкой «пост». В силу этого же обстоятельства постколониальное теоретизирование утрачивает некоторые свои сильные стороны, когда оно пытается объединиться с постструктуралистскими и постмодернистскими течениями. В худшем случае это соединение становится новой формулой «тьермондизма».

Но постколониализм не является сейчас нашей темой; давайте вернемся к межкультурному взаимодействию и завершим первую часть обсуждения кратким взглядом на другую сторону индийского опыта. Речь у нас шла о взаимодействии, инициированном Западом (по крайней мере, для Макса Вебера ислам являлся или начинался как часть Запада в самом широком смысле). Картина была бы неполной без упоминания совсем иного взаимодействия, в котором Индии принадлежала преобладающая роль. В данном случае имеются в виду три взаимосвязанных и в основном одновременных процесса. На протяжении первой половины первого тысячелетия нашей эры буддизм распространился из Индии в Восточную Азию и стал ключевым компонентом новых цивилизационных формаций в этом регионе. В то же время Юго-Восточная Азия была включена в сферу индийской цивилизации. Этот процесс понят не так хорошо, как восточноазиатская рецепция и трансформация буддизма; историки по-прежнему спорят о его движущих силах и результатах, но понятие «индианизация», хотя оно по-разному определяется, широко распространено. Третья часть этой истории является более неуловимой, и интерес к ней проявился не так давно. Некоторые американские историки предложили термин «сасернизация» (Southernization), очевидно, по аналогии с гораздо более знакомым понятием вестернизации. Используя этот термин, они имели в виду распространение индийских идей, открытий и изобретений не только в Восточную и Юго-Восточную Азию, но также и в западном направлении – особенно в сасанидскую Персию, а оттуда затем и в основные исламские земли. В самом широком смысле «сасернизация» включает, таким образом, два более специфических процесса. С точки зрения сравнительного подхода это был, несомненно, случай наиболее мирной цивилизационной экспансии (имперские амбиции не играли почти никакой роли за пределами индийского субконтинента), но и оставивший меньше всего воспоминаний, – практическое отсутствие всего этого исторического опыта в традиционной индийской культурной памяти – поистине поразительное явление.

Случай Индии может помочь прояснить некоторые моменты относительно межкультурного взаимодействия в целом. Как показывает этот случай, оно обычно является асимметричным в том смысле, что инициативы и последствия распределены неравномерно, и, по видимому, невозможно найти пример симметричного взаимодействия. Оно может включать, хотя и не обязательно, высокий уровень насилия и разрушения. Определенно нет причин надеяться, что понятие межкультурного взаимодействия романтической аурой, сопровождающей обычно понятие «диалог цивилизаций». С другой стороны, оно может быть плодотворным, порождая новые социокультурные образцы и открывая новые исторические горизонты, но не существует определенного соотношения плодотворных и деструктивных аспектов. Если вернуться к нашим трем историческим примерам, сложно определить, насколько плодотворным могло быть взаимодействие для греческой (в конечном итоге – для западной) стороны, тогда как ограничения с индийской стороны более очевидны. В случае индо-исламского взаимодействия нет сомнений в его плодотворности в различных культурных сферах. Но сравнение с другими частями исламского мира указывает на некоторые ограничения. В Индии не было ничего сопоставимого с синтезом различных традиций при формировании исламской (или, следуя М. Ходжсону, исламистской) цивилизации на Ближнем Востоке; не было возрождения временно подавленного культурного наследия в новой цивилизационной форме, как в Персии;

не было ничего подобного той роли, которую ислам сыграл в сохранении и распространении античного наследия на Ближнем Востоке и в Средиземноморье. Что же касается последнего взаимодействия, связанного с британским правлением в Индии, оно, конечно же, являлось чрезвычайно плодотворным, хотя не следует забывать о насилии, которым оно сопровождалось.

Индийский опыт представляется особенно поучительным, когда речь идет о рефлексивном измерении межкультурного взаимодействия. Как можно увидеть в приведенных примерах, уровень рефлексивности (и, следовательно, включенности в культурную память) существенно различается для каждой из сторон и от одного исторического периода к другому. В первом случае рефлексивность в большей степени отличала греческую сторону, чем индийскую, – хотя и существовали очевидные ограничения, включая нежелание греков изучать иностранные языки, – и исторические следы этого быстро сделались скорее предметом спекуляции, а не исторического анализа. Одна из наиболее поразительных черт индо-исламского взаимодействия – это то, насколько незначительной, по-видимому, оказалась саморефлексия или рефлексивное сопоставление с иным для каждой из сторон. Это, безусловно, связано с существенно различавшимися и фундаментально несовместимыми религиозными картинами мира с двух сторон водораздела, что должно лишний раз напомнить нам о многообразии значений взаимодействия цивилизаций. Речь идет не только о поддающихся наблюдению физических столкновениях, которые приводят к насилию и поддерживаются противоположными коллективными идентичностями (такова модель столкновения цивилизаций Хантингтона, хотя всегда остается вопрос о том, насколько сильны цивилизационные аспекты таких столкновений); существует также герменевтический диссонанс, взаимоисключающие логики различных культурных рамок, или культурных онтологий, как называет их Ш. Эйзенштадт. Иногда они трансформируются в более материальные формы конфликта, но с точки зрения сравнительного подхода особый интерес могут представлять события, которые не случились, блокирование дальнейших контактов и развития. Завершая обсуждение, заметим лишь, что в третьем случае индо-западного или индо-британского взаимодействия рефлексивный ответ значительно более силен с индийской, чем с западной стороны, что нашло выражение в реконструкции индийских традиций, которой способствовала апроприация элементов западной культуры.

Перейдем теперь от этого поучительного ряда примеров к более общим соображениям. Но прежде всего обратимся к идеям Бенджамина Нельсона, который ввел понятие межкультурного взаимодействия, и рассмотрим контекст, в котором он использовал это понятие [Nelson, 1981]. Его понимание цивилизаций, их динамики и судеб сосредоточено на том, что он называл «структурами сознания». Этот термин был предназначен для того, чтобы вывести веберовский подход за пределы его первоначального интереса к процессу рационализации и его религиозным истокам и подчеркнуть множественность слоев и различных смыслов, которые включаются в создание цивилизационного комплекса. В одном случае Нельсон использовал греческие понятия *eros*, *logos*, *nomos* и *polis*, чтобы указать на соответствующий спектр культурных тем и ориентаций. На этом фоне межкультурное взаимодействие выступает как прежде всего контакты и конфронтации между различными макро- и метаструктурами сознания. В принципе они могут принимать разнообразные формы: некоторые взаимодействия ведут к односторонней ассимиляции, другие способствуют инновациям, которые могут воздействовать на центральные структуры сознания, но сравнительные исследования должны учитывать также и взаимодействия, указывающие на удаленность и диссонанс между расходящимися культурными мирами.

Нельсон не разработал типологию межкультурных взаимодействий (в действительности до сих пор не предпринималось систематических попыток создания такой типологии). Но его особенно интересовали два существенно различавшихся между собой слу-

чая: взаимодействие западного христианства с другими цивилизациями, пришедшими в эпоху Средневековья на смену Римской империи, и взаимодействие Запада с Китаем в период раннего модерна. Судя по всему, его не слишком интересовала Индия; он сделал несколько замечаний по поводу веберовской интерпретации индийского общества, но не развил их, что могло бы изменить направление его цивилизационной теории. Но вернемся к двум его основным примерам. Западное христианство кристаллизовалось как вполне сложившаяся особая цивилизация в XI–XII вв., и в этом отношении точка зрения Нельсона полностью подтверждается недавними историческими исследованиями. Еще до этого периода фрагментированная западная периферия бывшей Римской империи находилась в контакте с Византией и исламским миром, а также с иудейской диаспорой. Но лишь после или в процессе формирования более четко определенной цивилизационной идентичности мы можем говорить о взаимодействии особого типа. Это был не просто распространенный случай обучения и заимствования со стороны менее развитой цивилизации по отношению к более развитой: для формирующегося Запада Византия и Ислам не играли той роли, которую развитый Запад сыграл для других частей мира или Китай для Японии. Хотя, несомненно, существовал определенный перенос навыков и технологий из исламского мира, Западная Европа уже развивала собственную техническую динамику. И хотя нельзя игнорировать предположения о том, что китайские концепции управления достигли Европы (в особенности Сицилийское королевство XIII в.) через арабских посредников, но определенно не было крупномасштабного переноса институтов. Скорее это был период собственных эпохальных институциональных инноваций в западном христианстве. Значение взаимодействия, по-видимому, связано с двумя аспектами. С одной стороны, разграничение с другими цивилизациями – в различной степени применимое к исламу и восточному христианству, но важное в обоих случаях – сыграло ключевую роль в формировании западного христианства. Оно было связано с более общей тенденцией возникающей цивилизации проводить границы и демонизировать внешние силы, что побудило одного из исследователей описывать трансформацию XII столетия как «рождение общества преследования» [Moore, 1987]. С другой стороны, именно через византийских и исламских посредников западное христианство открыло забытые, но имевшие фундаментальное значение части классического античного наследия, которое сохранялось этими двумя цивилизациями, но затем было присвоено на более широкой основе и более творчески использовано на Западе. Оно было особенно значимо для создания университета в XII в. Этот пример свидетельствует, что возрождение прошлых традиций следует рассматривать как один из типов междивизионального взаимодействия. Но в нашем случае эта часть конstellации переплеталась с отношениями между тремя неравномерно развитыми цивилизациями. Что же касается результатов для западной стороны, следует отметить одновременное формирование нетерпимости и рационального исследования, что являлось не единственным парадоксом Высокого Средневековья, но, возможно, имевшим наиболее важное значение.

Другой пример Нельсона – взаимодействие между Китаем и Западом в период раннего модерна – является совсем иным. Основными действующими лицами здесь были католические миссионеры, которые стремились обратить китайцев в христианство и принесли с собой некоторую информацию об идейном развитии в Европе. Но хотя это был, если учитывать огромную ментальную и географическую дистанцию, вероятно, самый амбициозный проект такого рода, в долгосрочной перспективе весь этот эпизод замечателен тем, чего не произошло. Христианство не добилося каких-либо успехов в Китае, и влияние Запада на интеллектуальную и научную жизнь Китая оставалось незначительным до столкновения XIX в. Это нельзя объяснить лишь географической дистанцией. В XVI в. Япония оказалась значительно более восприимчивой к христианству, чем Китай, но затем последовал значительный поворот вспять. Впоследствии, несмотря на изоляционистскую стратегию японских правителей, интерес к Западу и его научным достижениям возродился, и кажется очевидным, что накануне западной экспансии в

этот регион в начале XIX в. японцы знали о Западе намного больше, чем китайцы. Отчасти это объясняется тем, что они лучше использовали информацию, доступную через находившихся в Китае миссионеров (это можно сказать и о некоторых корейских интеллектуалах, но в силу различного социально-политического контекста их «изучение Запада» не имело такого влияния, как в Японии). Такой контраст предполагает, что с китайской стороны имели место социокультурные препятствия. Недавние работы синологов, в особенности Жака Гернэ, подтверждают эту точку зрения.

Что же касается западной реакции на этот первый продолжительный контакт с Китаем, она была достаточно артикулирована, чтобы Китай занял видное место в интеллектуальном универсуме Просвещения. Но сложившийся образ Китая был подогнан под западные мерки и не слишком способствовал непредубежденному изучению китайского мира – явно в меньшей степени, чем романтический образ Индии. Он не был полностью чужд представлению китайцев о самих себе – он опирался на образ, подчеркивающий роль конфуцианства, преувеличивал некоторые его черты, и, по-видимому, это западное восприятие китайских традиций имело значение для китайских критиков конфуцианства в XX в. Но переход от идеализации Китая в XVIII в. к его принижению в XIX в. – от Вольтера до Гегеля – был, возможно, не столь радикальным, как это часто изображали историки идей. Если сложившийся в XVIII в. образ являлся в большей степени проекцией, он был подвержен изменениям в европейском понимании себя и своего отношения к остальному миру.

Чтобы поместить эти замечания Нельсона в соответствующий контекст, обратимся к предпосылкам и последствиям взаимодействия между Западом и Китаем в период раннего модерна. Нельсон не рассматривал эти аспекты, но они существенны для более широкой картины. Начнем с предпосылок: взаимодействие совпало с решающими изменениями с обеих сторон, которые имели разную направленность. На Западе ранняя фаза европейской экспансии совпала с трансформациями, которые сегодня обычно рассматриваются как отличительные черты раннего модерна, – с процессом, который вывел Западную Европу на путь к глобальной гегемонии. Китайская трансформация имела совершенно иной характер. Последняя императорская династия Цин была некитайского происхождения, и структура власти, созданная в ходе маньчжурского завоевания после 1644 г., может быть наилучшим образом описана как окончательный синтез китайской и центральноазиатской имперских традиций. Консолидация этой обширной и многообразной империи происходила одновременно с новым всесторонним укоренением цивилизационных образцов. Результатом этого стала имперская конфигурация сдерживания изменений, которую не следует считать стагнацией, но которая тем не менее существенно отличалась от более радикальных изменений на другом конце евразийского макрорегиона. Контраст здесь поразителен: цивилизационная мутация на Западе, цивилизационное закрытие и консолидация в Китае (это закрытие произошло и в двух других восточноазиатских государствах, Японии и Корее, но с существенными местными вариациями, и развитие в этих рамках продвинулось в Японии значительно дальше, чем где-либо еще в данном регионе).

Что касается последствий, следует прежде всего отметить, что взаимодействие, происходившее в этом контексте, практически никак не подготовило ни одну из сторон к совсем иному типу конфронтации, которая началась в середине XIX в. (мы можем считать ее началом «опиумную» войну 1840–1842 гг. – неприглядный эпизод, открывший всемирно-историческую драму). Это второе взаимодействие между Китаем и Западом было, возможно, самым значительным цивилизационным конфликтом в мировой истории – оно было столь массивным и длительным, что термин «столкновение цивилизаций» кажется здесь недостаточным. Оно все еще продолжается, и было бы безрассудно пытаться предсказать его дальнейшее течение. Оно совпало с целой серией кризисов и перестроек Китайской империи, и нельзя исключать возможности нового раунда таких процессов. Мы не можем здесь подробно обсуждать данный процесс, но кажется заманчивым поразмышлять о двух эпизодах – один из них

слишком хорошо знаком, а второй недостаточно широко известен и не признан в качестве всемирно-исторического события, но оба они ставят фундаментальные вопросы перед сравнительной историей. В особенности, весьма своеобразная роль, которую сыграли в обоих случаях принятие и адаптация западных идеологий, требует более внимательного рассмотрения.

Знакомым случаем выступает маоизм, т.е. все более своеобразная и в конечном итоге значительно отклоняющаяся версия коммунизма, которую Мао Цзэдун утвердил в своей партии. Менее известным является тайпинское восстание 1850–1864 гг., которое началось за столетие до захвата власти коммунистами и стало началом окончательного кризиса китайского старого порядка. Значительный контраст между этими двумя случаями очевиден, но он может быть отчасти смягчен. Тайпинское восстание потерпело поражение, но оно нанесло непоправимый ущерб старому режиму и тем самым повлияло на последующий ход китайской истории. Маоизм одержал победу в войне за наследство Китайской империи, но затем он трансформировал собственное институциональное основание – партию-государство – таким образом, что оно уже не могло быть восстановлено в прежней форме. Однако для нас в данном случае представляют особый интерес интригующие идеологические параллели. В обоих случаях западная идеология была импортирована и, как сказал бы Маркс, стала материальной силой. Общеизвестно, что христианство явилось лишь одним из ингредиентов сложной и не очень связной идеологии тайпинского движения, тогда как маоистская версия марксизма-ленинизма превратилась в исключительную ортодоксию. Тем не менее сравнение между ними кажется сегодня более уместным, чем в конце правления Мао. В обоих случаях острый внутренний кризис привел к неожиданной открытости по отношению к западному культурному миру; но идеи, которые проникли в китайский универсум, оказались не слишком устойчивы в изменяющихся условиях. До прихода к власти коммунистов наблюдатели часто отмечали, что их идеология была чуждой китайским традициям и, следовательно, обреченной на поражение. В течение четверти века триумфа маоизма этот взгляд уступил место поискам китайских источников революционного радикализма. К концу века крушение маоизма и постепенная, но последовательная деидеологизация партии-государства открыли новые перспективы. Коротко говоря, китайцы нашли выход из коммунизма, который значительно отличался от внешне более эффективного российского варианта. Они разобрали идеологическое основание, но перепределили ключевой институт и адаптировали его к иным задачам. Однако, как мы знаем, это еще не окончание истории, начавшейся в 1840 г.

Есть и другая сторона взаимодействия между Китаем и Западом, и мы обратимся к ее более подробному рассмотрению, что позволит нам также обнаружить связь с некоторыми вопросами, поставленными в первой части статьи. По сравнению со всеми другими столкновениями между западным и незападными обществами фундаментальная неопределенность всей конstellляции в данном случае, возможно, – наиболее очевидна. В ходе взаимодействия или столкновения с другой цивилизацией и образующими ее традициями вызов со стороны новых социокультурных форм, созданных этой цивилизацией, но уже не ограничивавшихся ее рамками, становился все более настоящим. Иными словами, Запад был не только Западом, но он являлся также первопроходцем и передовым отрядом модерна – если и не единственным, то, во всяком случае, самым заметным и навязчивым. Тем самым мы сталкиваемся с проблемой Запада и модерна, соотношения между ними и их роли в глобальных трансформациях. Может оказаться полезным вернуться к обсуждению этой проблемы в работах Хантингтона – ему, по крайней мере, следует отдать должное за четкий и бескомпромиссный ответ на вопрос, которого слишком часто избегали. Ответ начинается с утверждения о том, что «Запад стал Западом задолго до прихода модерна». Определяющие культурные ценности и принципы Запада можно проследить до Высокого Средневековья, тогда как инновации модерна – индустриализация, урбанизация, революция в образовании – относятся к более поздней стадии и могут, хотя и совсем не автоматически, быть перенесены в другие части мира. Но после того,

как инновации модерна были восприняты, хотя и в разной степени, другими цивилизациями, а иллюзия всемирной цивилизации была преодолена, вновь возобладала прежняя модель плюрализма цивилизаций. Следовательно, для Хантингтона столкновение цивилизаций – или, в более широком смысле, ситуация, в которой возможны такие столкновения, – является, строго говоря, возвращением к домодерновым основаниям после интерлюдии модерна. Вся эта линия аргументации преуменьшает воздействие вызовов модерна, передовым отрядом которых был Запад, на идентичности, мировоззрения и образы мысли, разделившие различные цивилизации. Но чтобы прояснить это положение, нам следует пойти обходным путем.

Для понимания прорыва к модерну в рамках цивилизационного контекста Запада (для нашей аргументации не является существенным тот факт, что это было не единственное движение в данном направлении, поскольку кажется невозможным отрицать, что оно было наиболее значительным) нам потребуется понятие, которое в некотором смысле дополняет понятие междивизиационного взаимодействия. Мы будем говорить о *внутрицивилизационных расколах*, когда общие культурные основания цивилизационного комплекса интерпретируются радикально расходящимися способами, что приводит к конфликтам на уровне институтов и властных структур, а масштабы разногласий и борьбы таковы, что они порождают альтернативные цивилизационные модели. Нельсон, по-видимому, имел в виду нечто подобное, когда говорил о «гражданских войнах внутри структур сознания», но он не развил эту тему. Мы можем обратиться к некоторым очевидным случаям внутрицивилизационного раскола. Конфликт между Афинами и Спартой представлял такого рода разделение в греческом мире. Другим примером служит отделение христианства от иудаизма – с оговоркой, что это был случай цивилизационных моделей с неравным потенциалом преобразования в цивилизационные комплексы. В индийском контексте формирование и экспансия буддизма, кажется, привели к цивилизационному расколу, но его результаты оказались ограниченными, поскольку альтернативная буддистская форма царствования не получила развития. Что касается Китая, возвышение единой империи около 2200 лет назад, по-видимому, предотвратило цивилизационные расколы, которые наметились в период борющихся царств.

Но несмотря на риск выглядеть европоцентричным, мы утверждаем, что наиболее значительным среди всех внутрицивилизационных расколов был тот, который произошел в западном христианстве в период раннего модерна. Две реформации (сегодня широко признано, что нам следует говорить о двух реформациях, а не о реформации в одной части Европы и сохранении прежнего религиозного порядка в других частях) имели свою предысторию – они могут рассматриваться как взрыв бомбы с часовым механизмом, заложенной в европейской цивилизации с XII в. Более существенно, что они вызвали последствия, которые вышли далеко за рамки причин первоначальной конфронтации. Религиозный конфликт и способ сосуществования, найденный после столетия религиозных войн, открыли исторический простор для новых преобразовательных сил и процессов. Научная революция и Просвещение, абсолютистское государство и демократическая революция, которая трансформировала его наследие, – эти факторы изменили Запад, а также и его отношения с остальным миром. Промышленная революция также относится к этому контексту: экономические историки все в большей степени осознают ее зависимость от того, что они называют промышленным просвещением. Результатом стал, коротко говоря, прорыв от раннего к развитому модерну. Мы не будем пытаться ответить здесь на вопрос, следует ли считать этот модерн новой цивилизацией, новым типом цивилизации или постцивилизационным состоянием. Но в любом случае переход к модерну не означал, что его более специфические западные основания были просто оставлены позади. Взаимодействие между западными традициями и западным модерном было реактивировано в последующих узловых точках, и следует особо отметить одну из них: если основные проекты альтернативного модерна внутри западного мира или на его окраинах могут, на наш взгляд, рассматриваться как светские религии, то они могут быть поняты лишь с отсылкой к западным религиозным

традициям, которые они отрицали, но которым они оставались обязаны косвенным образом. Эта картина еще более усложняется тем фактом, что модерн является внутренне разделенным и оспариваемым: он соединяет новые способы накопления богатства и власти с новым пониманием человеческой автономии. С обеих сторон присутствуют – и находятся в конфликте – культурные интерпретации.

Взаимодействие между Западом и остальным миром, которое ряд историков довольно неточно называли вестернизацией мира, следует понимать с учетом этих оснований, т.е. не как безостановочное возвышение превосходящей власти или глобальное распространение более привлекательного образа жизни; не как триумф цивилизации в единственном числе или передачу навыков и приспособлений, которые в принципе могут быть адаптированы к сохраняющемуся плюрализму цивилизаций; но в качестве глобальной проекции проблематики, которая остается открытой для конфликтующих интерпретаций в своем первоначальном западном контексте и допускает более или менее оригинальные альтернативные интерпретации в западном мире. Для взвешенной критики европоцентризма (которую не следует смешивать с процветающим сейчас на академическом рынке принижением всего европейского) это кажется значительно более многообещающей исходной точкой, чем попытки отрицать влияние Европы и разоблачать возвышение Запада как побочный результат упадка в других частях света. Запад действительно возвысился, и европейцы, на благо или во зло, стали первопроходцами великой трансформации, но они никогда ее полностью не контролировали; они были особенно подвержены влиянию ее непредвиденных последствий (таких, как, прежде всего, глобальные конфликты XX столетия), и они не могут рассчитывать понять ее без отсылки к опыту, традициям и интерпретативным попыткам других цивилизаций, включенных в тот же самый исторический процесс. Если взаимодействие – или, скорее, серия разнообразных взаимодействий – между Западом и остальным миром рассматривается в таком свете, т.е. как взаимодействие местных традиций (иногда с собственными предвосхищениями модерна), западных традиций (со свойственной им внутренней проблематикой), динамики и различных видений трансформации модерна, а также форм контрмодерна (в том числе тоталитарных), которые выросли из западных субкультур, то необходимо заметить, что сравнительные исследования в данной сфере, которые соответствовали бы сложности поставленных проблем, все еще развиты явно недостаточно. Существуют значительные различия между цивилизационными комплексами, которые оказались в орбите западной экспансии и отвечали на исходившие от нее вызовы. Если обратиться к очевидному примеру, российская история формировалась под влиянием всех перечисленных факторов, что привело к весьма своеобразным результатам. Что же касается индийского опыта, мы ограничимся лишь несколькими общими замечаниями. Кажется ясным, что ни одна другая незападная цивилизация не знала чего-либо подобного тому, как Рам Мохун Рой использовал западные традиции, чтобы реконструировать индийскую традицию, что навлекло на него обвинения в предательстве собственного культурного наследия. Еще более очевидно, что нет параллелей предпринятому Ганди мобилизующему синтезу западных и индийских традиций, сочетавшемуся с радикальной критикой модерна. Наконец, Ш. Эйзенштадт отмечал в ряде недавних работ, что сохранение конституционной демократии в Индии во второй половине XX в. следует считать выдающимся явлением и исключительным достижением, которое может быть объяснено лишь соединением местных и западных и в более широком смысле современных источников.

Конstellация, которую мы обсуждали, не может быть описана как столкновение цивилизаций; более уместной была бы метафора подвижного лабиринта цивилизаций, включенных в трансформацию модерна, но при этом обладающих особым наследием и ресурсами, которые могут быть реактивированы. В сегодняшнем мире нет целостных цивилизаций того типа, о котором говорят те, кто предсказывает столкновение между ними или призывает к диалогу, чтобы предотвратить эту угрозу. Но цивилизации в плюралистическом, а не тотальном смысле

продолжают жить и после своей смерти, и хотя эта вторая жизнь не такова, как их домодерновая траектория, но она реальна по своим историческим последствиям, причем есть все основания полагать, что они сохранятся в течение длительного времени.

Если вернуться к только что предложенной метафоре и перефразировать Корнелиуса Касториадиса, который много занимался этими проблемами, хотя он и неохотно использовал язык цивилизационного анализа: лучшее, что мы можем сделать в таком подвижном лабиринте, – это искать чуть более устойчивые перекрестки и использовать их для изучения того, что нас окружает. Именно это пытались делать первопроходцы сравнительного цивилизационного анализа, включая Макса Вебера, величайшего из них, и остается еще немало работы в этом направлении.

Список литературы

Halbfass W. India and Europe: An essay in understanding. – Albany: SUNY press, 1988. – 622 p.

Levi-Strauss C. Tristes tropiques. – N.Y.: The modern library, 1997. – 517 p.

Moore R. The formation of a persecuting society: Power and deviance in Western Europe, 950–1250. – Oxford: Blackwell, 1987. – 168 p.

Nelson B. On the roads to modernity. – Totowa, N.J.: Rowman and Littlefield, 1981. – 316 p.

Paz O. Lueurs de l'Inde. – Paris: Gallimard, 1997. – 220 p.

Wink A. Al-Hind: The making of the Indo-Islamic world. – Leiden: Brill, 1991. – 396 p.

Трансформация «модели человека»: социальная причинность и «невидимые катастрофы»

К.В. Сергеев

Среди множества вопросов, возникающих перед теми, кто обращается к социальной рефлексии, есть один, напрямую связанный с ситуацией необходимости пересмотра «жизненных оснований» общества. Вопрос этот касается самой сути проблемы, и суть эта такова: в какой момент происходит «смена взгляда на мир»? Вопрос этот, даже в чисто теоретической плоскости, намного сложнее, чем может показаться с первого взгляда [см.: Alker, 1996; Фуко, 1994; Cassirer, 1979; Кассирер, 1998]. Взгляд на мир, т.е. онтологическая модель, является для большинства людей абсолютной мыслительной очевидностью, она даже не рефлексивируется ими, но используется просто как ментальный инструмент, неотделимый от нашего разума, как рука от тела, – мы же не осознаем каждое движение руки, но производим его автоматически, не задействуя напрямую наш разум. Онтологическая модель – это наш мыслительный инстинкт, мыслительная автоматика. Инстинкт же, как известно, вредно поверять рефлексией, ибо нет более надежного способа разрушить и то и другое.

Но в то же время мы знаем, что онтологические модели меняются, – одна модель внезапно умирает, и на смену ей приходит другая. Как только эта новая модель заняла место прежней, старая модель уже кажется всем людям чем-то немыслимым, невозможным, и никто уже не готов поверить, что совсем недавно эта «странная» модель была всеобщей. Между этими двумя моделями – старой и новой – лежит некая «слепая зона». Это – зона перехода. Проблема в том, что ее практически невозможно не только осознать, но даже и увидеть. В этой зоне отключается автоматизм онтологической модели, и наш взгляд на мир переходит, так сказать, в состояние «ручного управления». Как только новая онтологическая модель включается, люди забывают об этом промежуточном состоянии, онтологическая модель стирает это состояние из памяти нашего опыта, ибо этот «промежуточный опыт» по определению не совместим с онтологической моделью.

Таким образом, мы находим некую «слепую зону» между двумя состояниями мыслительной очевидности. В этой слепой зоне и происходит главное изменение. Не поняв природу этого изменения, мы, строго говоря, вообще не можем подвергать рефлексии жизненные основы социума, равно как, не понимая логики перехода от неживого к живому, мы не можем судить о «биологических основаниях» человека.

Чтобы, наконец, приблизиться к пониманию природы онтологического сдвига, нам необходимо вначале задаться простым, и, казалось бы, вполне отвлеченным вопросом, а именно: *в какой момент происходит историческое событие?* Вопрос этот, безусловно, провокационный, ибо мгновенный и естественный на него ответ тавтологичен, – событие происходит тогда, когда оно происходит. На самом деле, такой «рациональный» ответ предполагает весьма специфическую «модель события», которую мы используем по умолчанию, забывая о том, что это лишь одна из возможных моделей понимания того, что есть событие.

Итак, согласно этой доминирующей «модели события», событие можно назвать произошедшим, «имевшим место» – лишь в тот момент, когда оно оказывается оптически или вербально очевидным, т.е. *воплотившись* в материальном (социальном) мире. Иными словами, мы отказываемся рассматривать замысел как событие. По-видимому, это связано с тем, что событие должно быть жестко привязано к временной шкале: если событие *случилось*, значит, мы можем указать его день и час – ведь именно это и доказывает, что событие случилось, произошло. Рождение замысла невидимо, и, следовательно, этот момент рождения едва ли может быть соотнесен с временной шкалой. Событие существует в физическом времени, мысль же

оказывается заключена в иное временное измерение. Как говорил поэт, «между замыслом и воплощением падает тень», и эта тень отделяет событие-воплощение от незримого и «не-событийного» замысла.

Однако ничто не мешает нам построить «модель события» иным способом. Согласно этой модели, *событием оказывается замысел*. Воплощение можно рассматривать лишь как материализацию замысла, лишь как формальную оболочку события, изначально детерминированную им. Мысль, конечно же, не материальна, но она приводит к зримым последствиям. И последствия эти оказываются результатом не только *замысла*, но и *воли*. Собственно, именно здесь и скрывается возможность «рационализировать» взгляд на событие как замысел. Присмотримся к этому процессу повнимательнее.

Что такое замысел? Изначально это интуитивное ощущение новой возможности, новой комбинации фактов мира, из которой, собственно, и рождается событие. Интуитивное ощущение – еще не событие, но лишь его предчувствие. Это предчувствие может оказаться ложным в том случае, если ощущаемая новая возможность не обретет логические черты, т.е. не станет фактом сознания. Факт сознания – это то, над чем человек размышляет, превращая, так сказать, алмаз интуиции в бриллиант замысла. Пока «процесс огранки» не завершен, мы не можем говорить о том, что «событие произошло», т.е. замысел возник, но как только из аморфного интуитивного ощущения возникает четкая форма замысла, мы можем говорить, что событие действительно произошло.

Теперь нам необходимо увидеть, каким образом замысел как факт сознания становится событием как комбинацией фактов мира. Если мы признаем принципиальную дихотомию замысла и воплощения, то эта трансформация для нас представляется загадочной и случайной. «Мало ли существовало замыслов, и многие ли из них воплотились?» – таков будет резонный вопрос. На это следовало бы ответить: *невоплощенный замысел не есть замысел*. Это высказывание нуждается в пояснении. Очень часто, говоря о замысле, или мысли, мы не разделяем для себя два принципиальных ее состояния – мысль как интуитивное ощущение новой возможности и мысль как осознанный факт сознания, т.е. мы, так сказать, часто путаем алмаз с бриллиантом. Замысел как «пустое мечтание» – это поверхностная, ни к чему не обязывающая интуиция, которая с легкостью может быть сменена новой интуицией. Такой «замысле», конечно же, не есть событие, и, строго говоря, это даже не замысел, но праздные мечты. «Ограниченный» замысел, продуманный, внутренне пережитый – совсем иное дело. В момент завершения «огранки» с ним происходит странная вещь – помимо формы, замысел обретает *волю к реализации*. Сказанное мной – не метафора. «Ограниченная», внутренне состоявшаяся мысль есть точный аналог живого организма, единственная биологическая цель которого – выживание, развитие и самовоспроизводство. Мысль оказывается уже не пустым мечтанием, но императивом, который движет человеком – своим носителем. Залог реализации мысли – в самом факте ее рождения, т.е. превращения из интуиции в факт сознания. Рождаясь, мысль стремится выйти вовне и тем самым – стать зримым фактом мира. В тот момент, когда мысль становится таковым фактом, происходит событие в его классическом понимании, четко привязанное к временной шкале. Однако можем ли мы говорить, что событие *произошло* именно в этот момент времени, – ведь его видимая форма была уже предопределена *рождением замысла*, который есть не что иное, как императив к реализации. Конечно же, этот императив не абсолютен – мысль можно убить, но, как правило, только вместе с ее носителем. Убить можно и любой живой организм – однако факт его рождения будет неоспорим. И этот факт будет событием.

Итак, мы можем говорить, что событие *происходит* в тот момент, когда его зримое воплощение делается неизбежным. И это событие *незримо* определяет исторический ход вещей. Историкам хорошо знакома эта ловушка: с одной стороны, есть дата зримого события, с другой стороны, есть четкое понимание того, что это зримое событие жестко детерминировано некими «незримыми событиями» в прошлом, которые на самом деле и должны являться предметом

исторической рефлексии. Проблема, однако, в том, что совершенно неясно, что представляют собой эти «незримые события». Их невозможно вычленишь, исходя из позитивистской модели, они не являются бесспорными историческими фактами, они лишены места на временной шкале, и они, по сути, не имеют «формы». Однако они, бесспорно, имеют бытие и, следовательно, должны быть осмысленны. Для описания этих «незримых событий» вводятся такие абстрактные категории, как «революционная ситуация», «экономические факторы», «международное положение», но это не более, чем не вполне удачная попытка детерминировать «зримое» событие – «незримым».

Историки традиционно оперируют зримыми фактами, и именно из исторической методологии мы унаследовали традиционное понимание события как зримого факта мира. Между тем социальная философия дает нам совершенно иную перспективную точку. Эволюция социума не может быть увидена человеческим глазом, ибо время его жизни, а правильнее – время жизни социальной онтологии, неизмеримо больше, чем время жизни человека. Скрытая эволюция модели мира, ее резкий слом и рождение новой модели мира не могут быть увиденны через зримые исторические факты. *Процесс* рождения или умирания не может быть понят через *факт* рождения или смерти – сам факт не дает нам путей понимания логики его детерминированности. Мы видим лишь результат, но не путь. Следовательно, нам необходимо найти новый тип свидетельств, которые позволят нам определить *начальную точку* этого пути, т.е. тот момент, когда событие на самом деле произошло, и незримо, но бесповоротно определило судьбу модели мира, а вместе с ней – и всех объединенных ею людей.

Перед тем как мы приступим к поиску этого нового типа свидетельств, нам необходимо понять, что, собственно, мы ищем. Что свидетельствует о грядущей смене модели мира? Естественно, рождение элементов новой модели. «Слепая зона» между моделями мира, о которой я говорил выше, являет собой, исходя из элементарной логики, пространство незримой онтологической войны, притом что победа в ней уже предопределена. Формально доминирует старая модель, но на самом деле она уже мертва – просто об этом еще никто не знает, хотя все это чувствуют. В определенный момент она мгновенно отмирает, и столь же мгновенно новая модель обретает абсолютную власть. Мы наблюдаем – если мне будет позволена такая грубая метафора – эффект курицы, бегающей по двору с отрубленной головой: мы-то, как зрители, уже знаем, что «жизнь мертва», но тело этого еще не чувствует.

«Слепая зона» онтологий – это пространство, разделяющее замысел и воплощение. Это та тень, которая падает между замыслом и воплощением. Пространство это существует в «историческом мире» – в нем живут люди, не знающие о том, что «все, что будет после, уже произошло». На самом деле, так сказать по «гамбургскому счету», этого пространства нет – в момент рождения замысла новой онтологии старая уже мертва, просто она об этом не знает. И здесь самое время нам попытаться понять, что значит «замысел новой онтологии».

Мысль, или замысел – это рождение новой возможности осознавать мир, или, используя оптическую метафору, это новая перспективная точка. В потенции – т.е. в интуиции – существует бесконечное множество перспективных точек, они существуют на периферии нашего сознания, являясь тем, что принято называть «пустыми мечтаниями». Существующая модель мира не позволяет им покинуть периферию, и причина этого проста – нет необходимости в новом взгляде, существующий взгляд достаточно зорек и видит мир ясно и отчетливо. Ясность видения мира есть залог жизнеспособности онтологической модели. Стремление к такой ясности есть свидетельство приятия человеком этого мира. Жизнеспособная социальная реальность требует ясности социальных правил. Эти правила могут быть сколь угодно «не гуманны» и «не мудры», но если они ясны всем и всеми разделяемы, то эта социальная реальность будет «работать» – т.е. работать как раз в самом прямом смысле слова будет онтологическая модель.

Что такое ясность правил? На самом деле, это совокупность представлений, формирующих «модель человека». Совокупность ясных ограничений и свобод является тем зеркалом,

в котором человек может увидеть самого себя целиком, осознать себя, свои возможности и, как следствие, – выработать возможные способы действия в социуме. «Модель человека» – это очерченные границы его возможностей, за пределы которых он не может даже *помыслить* выйти. В известном смысле, можно сказать, что модель человека устанавливает границы его мышления.

Границы, по самой своей сути, всегда должны быть ясны и очевидны. «Модель человека» является основой картины мира, ибо *способ* восприятия реальности является производным этой модели. Однако традиционное общество, т.е. общество с ясными правилами, ясными «границами человека» имеет обыкновение разрушаться – иными словами, «границы человека» и правила социальной игры начинают размываться, терять свою ясность. Как только ясность утрачивается и взгляд на мир делается подслеповатым, появляется необходимость найти новый взгляд, новую перспективную точку, чтобы вновь восстановить границы ясности.

Именно в этот момент с периферии сознания начинают всплывать «новые замыслы», т.е. новые перспективные точки, способные внести ясность в видение мира. Эти «замыслы» имеют скорее биологическую, чем социальную или интеллектуальную природу. По сути, они возникают как средство поддержания общества как единого биологического организма – так, утрачивая зрение, человек помимо своего осознанного желания развивает осязание. Природа, так сказать, не терпит убытка и пустоты. Ситуация утраты ясности «границ человека» заставляет людей, даже помимо их осознанного желания, увидеть мир и себя самих с новой, ясной перспективной точки. Так вынужденно рождается мысль, и замысел проходит мыслительную огранку, так морская волна окатывает щебень, не стремясь к тому, но следуя природным колебаниям.

Далее происходит неизбежное – новая мыслительная перспективная точка, возникнув, начинает моделировать самосознание и поведение человека. То, что ранее было немислимо, становится нормой. То, что воспринималось как насильственное нарушение «границ человека», теперь по умолчанию признается таковыми границами. Происходит то, что можно назвать «экспансией человека». Но происходит это помимо его воли.

На самом деле, границы «модели человека» в традиционном социуме не являются незыблемыми, они до определенной степени «эластичны», предполагая «рост и развитие» самосознания человека. «Модель человека», будучи живой структурой, растет, как биологический организм, в процессе естественного роста не утрачивая ясность, но скорее приобретая ее. Это и есть естественное развитие социума. Но это развитие редко идет своим естественным путем. Часто наблюдается резкая и тираническая «экспансия человека», когда очень незначительные группы людей, а иногда – и один человек, в индивидуальном порядке, для самих себя, раздвигают, а точнее – разрушают границы «модели человека». Это внезапное раздвижение границ нарушает естественное развитие социума, уничтожая основания существующей модели мира. Именно это раздвижение границ и создает тот «разлом», из которого возникает новый взгляд на мир. Этот новый взгляд необходим для выживания социума, но он уже – *не органичен*.

Точка возникновения этого нового взгляда и есть то «незримое событие», которое невозможно увидеть через призму исторических фактов. Чтобы увидеть это событие, необходимо определить момент изменения модели человека, когда те действия, которые еще недавно представлялись немислимыми, стали вдруг единственно возможными, стали «мыслительной очевидностью». И этот момент смены, а точнее – слома модели человека, можно определить как «*невидимую катастрофу*».

В этом определении нет оценочности, но – лишь стремление к ясности. Катастрофа в изначальном значении слова – это переворот, перелом в естественном течении событий, резкое и роковое изменение ситуации (неслучайно этот термин означал заключительную часть, «развязку» греческой трагедии). Катастрофа – это смена парадигмы, когда «время выходит из своей колеи». Для современного человека, с его безудержным стремлением к «минимизации

жизненных рисков», это понятие приобрело ярко выраженный негативный смысл, став синонимом крушения, разрушения, гибели. На самом деле катастрофа – это точка изменения мира, или, вернее, изменение точки зрения на мир, это пространство онтологического разлома. По определению, катастрофа не может быть естественной – ведь любые органические изменения постепенны, а не скачкообразны, – и поэтому она всегда означает слом естественного, «биологического» развития какого-либо процесса. В этом смысле понятие катастрофы совмещает свое древнее значение с современным пониманием, и мы получаем такое толкование: *катастрофа есть искусственная смена парадигмы*.

Та катастрофа, о которой мы говорим, – по определению невидима, ибо сама по себе «модель человека» не принадлежит к физическому миру, но существует в пространстве ментальной реальности, которая, в свою очередь, обуславливает все наши действия в физическом пространстве. Однако тот факт, что она невидима, не означает, что она не реальна, – наоборот, она реальна в высшей степени, ибо касается каждого человека, чья жизнь попадает на момент онтологического разлома. Проблема заключается в том, что об этой «невидимой катастрофе» практически невозможно говорить, – попросту для этого не хватает языка, не хватает инструментов социальной рефлексии, хотя сам факт этой катастрофы, бесспорно, ощущается большинством живущих.

Удивительный пример поэтической рефлексии рассматриваемого мной феномена можно найти у александрийского поэта Паллада, жившего в эпоху окончательного торжества христианства в античном мире [см.: Ирмшер, 1956]. Высказывая очевидное и, в общем-то, банальное суждение о том, что «греки» (т.е. люди, разделяющие языческую модель мира) уже давно «умерли» или «погрузились в сон» (или, как мы бы сейчас сказали, «потеряли себя в мире»), поэт завершает его странной и удивительной догадкой – «а может, живы мы, да только жизнь мертва». Это парадоксальное высказывание мне представляется очень глубокой социально-философской интуицией, имеющей самое непосредственное отношение к рассматриваемой нами проблеме «невидимых катастроф». Что значит – «жизнь мертва»? Если мы посмотримся к этой метафоре повнимательнее, мы увидим в ней нечто гораздо большее, чем поэтический софизм. «Живая жизнь» – это жизнь в своем естественном, органическом развитии, это жизнь, которая имеет будущее и стремится к некоей удаленной точке, к невидимой цели. Иными словами – это органически протекающий процесс, движимый внутренней «эмбриональной волей». Говоря биологическим языком, «живая жизнь» – это сила эмбрионального поля, вовлекающего клетки в естественный рост и формообразование. Применительно же к социальным материям «живая жизнь» – это естественное развитие и эволюция модели человека в определенном социуме. Но что значит – «жизнь мертва»? Исходя из элементарной логики метафоры, «мертвая жизнь» – это жизнь без будущего, т.е. ситуация, когда естественное развитие процесса уже невозможно. Некий процесс еще движется по инерции, но его развитие уже прервано. Движение еще есть, но оно уже «мертво». Внешний наблюдатель не может этого видеть – чтобы это осознать, нужна определенная историческая перспектива, но человек «внутри ситуации» осознает, что *нечто изменилось*: «умерла жизнь». Это ощущение очень трудно выразить, но легко почувствовать – так, смертельно больной человек чувствует близость своего конца, что бы ни говорили ему оптимистичные медики.

Ощущение «незримой катастрофы», т.е. «слома» модели человека, и есть ощущение того, что «жизнь мертва»: попросту говоря, представления о том, что представляют собой человек и окружающий его социальный мир, уже «не работают», уже не соответствуют действительности. Социальная реальность перестает казаться ясной и органичной, она становится непонятной и пугающей, ведь ее «правила» – неясны. И до того момента, как эти правила прояснятся, т.е. станут «живыми», окружающая человека когнитивная реальность будет «мертва».

Теперь мы готовы к тому, чтобы обратиться к ясным историческим примерам «невидимых катастроф». Эпоха, в которую мы живем, могла бы быть тому блестящим примером,

однако ей не хватает ясности – пока что, к счастью, мы еще не видим финала той драмы, по окончании которой зрители чаще всего остаются «без шуб и домов», приобретая в обмен на них нечто новое (я вновь имею в виду смену модели человека). В качестве двух примеров таких катастроф мы избрали две исторические ситуации, определившие во многом пути развития европейской модели человека. Наша цель – попытаться выхватить взглядом тот момент, когда эта смена модели человека, а также последовавший затем онтологический и социальный слом стали неотвратимы, произойдя задолго до того момента, когда случилось формальное, историческое событие.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.